

Опубликовано в журнале:

[«Новый Мир» 1994, №8](#)

ДАНИИЛ ГРАНИН

Бегство в Россию (часть 2)

роман. Продолжение

ДАНИИЛ ГРАНИН

*

БЕГСТВО В РОССИЮ

Роман

XI

На Милену напали ночью, когда она шла домой. Произошло это в полусотне шагов от ее подъезда, на баскетбольной площадке соседней школы. Она только что рассталась с Джо. Весь вечер они музицировали у подруги Милены, в большой квартире с роялем. Джо исполнил кое-что из своих парижских вещей. Будь рядом Тереза, успех был бы большой. Эти пражане отлично разбирались в новинках свободного джаза, в музыкальных диалектах Америки. В компании Милены Джо чувствовал себя моложе, они наигрывали друг другу, напевали, Милена командовала, ее румянец словно поджигал всех. Невольно Джо сравнивал ее с Магдой. Та была как бы для повседневности, для домашней жизни, приспособленной к его работе, надежно обустроенной, с охраняемой тишиной, чтобы он мог, придя домой из лаборатории, по вечерам обдумывать результаты, посмотреть журналы, книги, прикинуть завтрашний распорядок, а главное, найти простейший подход к своей идее, убедительно выгодный.

Милену же принадлежала той поре, которая уже уходит. Еще можно поплясать, попеть, погулять напоследок, годик, полтора — и конец, поезд придет на конечную станцию... Чем дальше, тем слаще становились эти последки, но и тем сильнее он ругал себя за трату времени.

...Били трое. Молча. Когда она закричала, ударили в рот кастетом, выбили передние зубы. Били и ногами, когда свалилась. Ее отвезли в больницу, положили в отдельную палату. Джо долго не хотели к ней пускать. Врачи считали, что надо снять шок. Она не могла говорить. Увидев Джо, стала плакать. Голова перевязана, белый марлевый шар, сотрясаемый мычащими рыданиями...

В полиции усатый инспектор уверял Джо, что в течение суток отыщут хулиганов. А может, это местные парни взревновали, у них свои счеты, своя компания. Инспектор старался успокоить Джо, просил подождать, о вечеринке не спрашивал, и следователь не спрашивал, записал только, когда расстались, и особенно — что пили, сколько, не была ли

Милена пьяна.

По словам ее матери, незадолго до вечеринки Милене звонили на работу, посоветовали прекратить общение с иностранцем. В следующий раз мужской незнакомый голос пригрозил, пообещав проучить.

— Это еще ничего не доказывает, — стоял на своем полицейский инспектор. — Предупреждали? Надо было прислушаться.

Пухлые руки его покоились на пивном животике, свекольный нос и свекольный румянец придавали ему сходство с бравым Швейком.

— Вы не умеете работать! — кипятился Джо. — Вы не хотите работать, вы очень хороший для преступников.

Его чешский насмешил инспектора.

— Вы тоже неплохой для преступников. Провожать надо женщину, за которой ухаживаешь.

Джо решил обратиться к профессору Голану.

Утомленный после какого-то заседания, Голан слушал его вполуха, отчего Джо еще больше разошелся: что это за полиция, что за порядки, бездельники, не желают искать бандитов! Может, им надо заплатить, может, надо дать взятку или нанять детектива? Жажда мести сжигала его тем сильнее, чем явственней он наталкивался на вежливое нежелание что-то предпринять. Нежелание было ускользающее, как взгляд Карела Голана и уклончивый его совет:

— Если не хотите для Милены новых неприятностей, прекратите эту связь.

Ну конечно, и почтенный профессор, цвет пражской науки, больше печется об авторитете полиции, чем о законности!

— Боюсь, что тут полиция ни при чем, — обронил Голан.

Слова эти заставили призадуматься. Джо вдруг вспомнил предупреждение Магды. Какой же он идиот! Магде заранее было известно. Полиции — тоже, поэтому и не хочет вникать. И Голану. Поэтому-то он и подает советы такого сорта!

— Вы, пан профессор, значит, знали про эту акцию? Под каким кодовым названием она шла? Акция “Иностранец”? Акция “Создадим крепкую семью”?

Предостерегающие знаки Голана не действовали на Джо. Он не снижал голоса, хотя и сидел рядом с телефоном.

— Я этого так не оставлю! — кричал он всем подслушивающим устройствам. — Я до президента дойду! Я доложу советским товарищам про

эти фашистские методы.

В ужасе Голан зажимал уши, он весь вспотел.

— Вы не имеете оснований... В конце концов, американцы тоже не стесняются, посмотрите, что они выделывают, возьмите Корею, каждое правительство...

— Нет, извините! — вопил Джо. — По-вашему, в социалистическом государстве можно выделывать то же самое, что и в капиталистическом? По-вашему, нет разницы?

— Я этого не говорил! Не говорил! — взвизгнул Голан. — Как вам не стыдно!

— А я вам не верю. Вы заодно с ними!

Джо вскочил, он готов был броситься на этого толстого, взмокшего от страха человека. И он бросился бы или запустил в него чем-нибудь, но Карел Голан сам кинулся к нему с какой-то исступленной готовностью, снимая на ходу очки и подставляя под кулаки Джо свои близорукие глаза... Джо опомнился — перед ним был профессор Голан, автор классических работ по математической логике...

И Голан обмяк, опустился на стул, сгорбился, закрыл лицо руками. На него жалко было смотреть. Господи, до чего они дошли. В этой маленькой стране такого человека должны были на руках носить, он должен был чувствовать себя королем. Самое странное заключалось в том, что Голану действительно оказывали почести — награждали, приглашали на правительственные приемы, — а он пребывал в страхе, липком, вонючем страхе, прислушивался, оглядывался, никак не мог выпрямиться. Судя по рассказам ассистентов, у пана профессора была безупречно чистая биография кабинетного ученого. Чем же они могли его зацепить? Джо подозревал, что здесь американский опыт недостаточен, но другого у него не было. Несомненно одно: поведение этого человека не соответствовало его положению. На его месте Джо не задумываясь обратился бы к министру.

— Это они вас должны бояться, у вас международное имя.

Голан усмехнулся, вытер лицо мятым клетчатым платком. Взяв бумагу, Джо тут же на краешке стола написал заявление на имя министра Сланского, изложив свои подозрения: дескать, он пришел к выводу, что это работники его министерства организовали избиение Милены К. Он требовал наказания для преступников, они позорят и прочее. Иначе... Что — иначе? Джо запнулся. Иначе он доведет это до сведения международной общественности (каким образом — он понятия не имел), и в первую очередь до сведения советских товарищей (тут он чувствовал себя уверенней). Такие, как товарищ Нико, их не одобряют. Он писал крупными печатными буквами по-английски, пользуясь самыми простыми выражениями. Получалось как бы письмо детям. Или малограмотным. Читая, Голан не мог удержаться от улыбки, но, закончив, покачал головой.

— Это невозможно. Вы погибнете.

— Ничего со мной не будет, — успокоил его Джо.

Вопрос только в том, как передать письмо, чтобы оно попало прямо в руки министру. Это может сделать только Голан, ему не откажут в приеме. Это его моральный долг, дело его совести, гражданской чести.

— Чего вы так боитесь? Чего? — допытывался он и успокаивая Голана, и негодуя, и жалея его. — Имейте в виду, — пригрозил он, — я сообщу в министерство, что отдал письмо вам.

Круглые, увеличенные очками глаза Голана приблизились к его лицу.

— Вы такой же, вы пугаете, как они! — прошептал он, попятился в ужасе к дверям, выбежал.

— Иначе с ними нельзя! — крикнул вслед ему Джо.

Домой Джо шел пешком, стараясь привести свои чувства в порядок.

Магды еще не было. Он плюхнулся в кресло как был в пальто, закрыл глаза... Очнувшись, услышав, что Магда ходит по кухне, вот стукнула дверь в ванную, зашумела вода. Джо заставил себя подняться.

Магда стояла под душем в розовой резиновой шапочке, струи воды били в ее плечи, груди, шумно стекали вниз.

— Что с вами? — спросила Магда, неуверенно улыбаясь.

Не расслышав за шумом воды слов, он спросил в лоб: зачем она это сделала?

Магда поняла сразу.

— Я не могла. Я ничего не могла. Я могла только предупредить вас.

Она прикрутила воду, обреченно прижалась к белому кафелю стены, готовая к тому, что он сейчас ее ударит.

— Они что же — думали, что я смогу после этого с тобой оставаться? — сказал он устало, гнев его выдохся.

Капли скатывались по ее животу, бедрам, она стояла перед ним, забыв о своей наготе.

— Они не думали о нас, они выполняли свою задачу.

— Какую? О чем ты?

— Им надо было обеспечивать вашу безопасность.

Джо смотрел на нее брезгливо.

— А может, это ты им подсказала?

— Нет, нет, — она отчаянно замотала головой, — я хотела по-другому.

— Как это по-другому?

— Чтобы мы уехали.

— Куда уехали?

— В Советский Союз.

Ни разу никому здесь Джо не заикался об этом — как же она могла узнать? Он смотрел на нее во все глаза. Широкие плечи, крепкие большие груди и при этом тонкая талия. Тело словно бы придало совершенно новое выражение ее одутловатому, несколько хмуро-замкнутому лицу. Что-то волнующее, любопытное было в этом контрасте.

— Ты бы поехала? — зачем-то спросил он.

— Да, да... — Она схватила его руку, стала целовать ее, и он ощутил, как по ее прохладно-мокрой щеке бегут горячие беззвучные слезы. Она не требовала утешения, в ней была потребность прижаться к его руке. Ему еще не приходилось сталкиваться с такой силой чувства, чисто женского, ищущего любви.

Женщины для Джо существовали как украшение, как возможность физической радости, ему нравилось завоевывать их, красоваться перед ними. Со временем у каждой из них появлялись захватнические намерения, он научился ловко уклоняться от мучительных сцен, порывать разом. Теперь Магда лишилась всяких прав удерживать его, осталось только отчаянное чувство, которое нельзя было назвать любовью. В постыдной, навязанной ей роли принудительной спутницы она пыталась создать какое-то подобие любовных отношений, и все рухнуло, она лишилась даже права на сочувствие. Разойтись, разъехаться им не позволят, в этом она была уверена, их приковали друг к другу. В Советском Союзе им, может быть, удастся построить другие отношения.

Она открывала свои прежние планы, несбыточные, отныне безнадежные, но Джо был интересен выношенный ею вариант его жизни.

В ту ночь они спали вместе. Получилось это само собой.

Теперь, когда Джо Берт освободился от всяких обязательств по отношению к Магде, она стала для него просто молодой женщиной, тело которой возбуждало желание. Неизбежность прощания бушевала и в ее ласках; больше им вместе не бывать, поэтому нет ничего стыдного... И был миг, который она ощутила как миг зачатия. У нее будет ребенок! “Если ничего не случится”, — суеверно прибавляла она, наполненная благодарностью, лежала, боясь пошевелиться. Ее ребенок, желанный ребенок, самые лучшие

дети, самые здоровые, удачливые — это желанные. Больше ей от Джо ничего не надо.

Она вдруг вспомнила фразу из Диккенса: “У них все было впереди, у них впереди ничего не было”.

— Это про нас, — сказала она, как бы спрашивая.

В ответ он рассказал ей про письмо Сланскому. Она встревожилась, слишком хорошо зная порядки этого учреждения и их мстительность. “Они” все могут, все знают, бороться с ними бессмысленно.

— Подавятся, — благодушно сказал Джо и заснул у нее на руке.

В больнице его встретила мать Милены, подтянутая, накрашенная, быстроглазая, прежде — сладко-радушная, ныне же — церемонно-отчужденная. Приняла цветы, апельсины, конфеты, поблагодарила и: “К сожалению, Милена вынуждена прекратить знакомство, с нее достаточно того, что произошло. Но ей, бедняжке, придется вставлять зубы, операция дорогая, надо сделать у частных стоматологов, потому что передние зубы для девушки — тут нельзя скупиться. Кроме того требуется курс лечения, чтобы избавиться от психической травмы”.

Джо тут же предложил все, что у него было, и обещал завтра же прислать еще. Деньги мать Милены тщательно пересчитала, сунула пачку в свою вышитую бисером сумочку, громко щелкнула металлической застежкой и, смягчившись, погладила Джо по руке.

Двери в квартиру почему-то открыты. Джо постоял на площадке, прислушался. Из глубины доносилась музыка. Приемник был включен на полную мощность. Передавали симфонию Гайдна. Не раздеваясь он прошел в комнату. Все стояло на своих местах.

Заглянул к Магде. Она укладывала чемодан. Бросала туда платья, кофточки, белье. Глаза красные, опухшие от слез. Увидев Джо, она сказала, что уезжает к дяде в Кладно. Не уезжает, а бежит. Что-то темное, затаенное, какой-то ужас исходил от нее. Джо охватило памятное по Парижу ожидание беды.

Под орущее радио Магда шепнула, что начинаются аресты. Он не отозвался, застыл, держа туфли в руках. “Аресты”, — бормотал он удивленно. Туфли упали, Магда потянула его за отвороты пальто — нечего притворяться, еще позавчера ему было все известно...

Вдруг музыка оборвалась, и там, вдали, перед микрофоном сдавленно задышали люди. Шорох, шепот... А потом — хриплый голос диктора: правительственное сообщение, арест группы заговорщиков, пособники американского империализма во главе со Сланским... Далее следовал перечень, фамилия за фамилией, выбывающих из жизни.

Так вот что это было! Раскинув руки, Джо повалился на диван. Разумеется, он знал, давно знал, что так и будет, так им и надо, это она, Магда, не

поверила ему. А могла бы предупредить своих боссов, своих бесов, всю эту шайку-лейку. Она отстранилась опасливо, словно перед ней оказался дьявол с рогами, с запахом серы, а Джо, виляя хвостом, понесся по квартире, отбивая дробь копытцами, славя справедливость — раскусили-таки этих подонков, фашистскую мразь! Он пинал казенный шкаф, казенные стулья “из ихних складов”, казенный стол, четвероногих соглядатаев, наверняка утыканных микрофонами, и в этот балетный абажурчик вставлен жучок, и Магде куда-нибудь вставили эту штуковину. Он не щадил ее, не щадил и Карела Голана, которому тут же позвонил — слышали, пан профессор, каковы ваши рыцари революции, ее доблестные щиты, ее охранники, эти предатели, продажные душонки, стоило ли из-за них так долго ходить с мокрыми штанами! Слава богу, избавились, поздравляю, наконец-то вы свободны... Голан испуганно откликнулся, голос его дребезжал, будто там, в трубке, что-то сломалось:

— Для нас с вами ничего не изменится. Мы просто перейдем к новым владельцам.

Ерунда, партия исправит нарушения, которые не соответствовали социализму. Выявлены виновники, “мы же с вами этому способствовали”, письмо, переданное пану профессору, “ляжет на весы правосудия”, “мы реально помогли, практически помогли (Джо великодушно присоединил к себе и своего шефа) найти преступников, палачей...”. Примерно в этом месте он споткнулся о слова Голана: письмо-де никуда не передано, так и лежит, не на весах правосудия, а перед ним на столе.

— Ох, подвели вы меня, шеф. Такую возможность упустить! (Сукин ты сын, трус пучеглазый!) Не поверили, вот и получайте, вместо того чтобы в героях ходить! (Останешься засранцем, поддавай.)

— Да, дорогой Джо, как это ни печально, но Карел Голан, член четырех академий, почетный доктор Венского университета, почетный член Академии наук Советского Союза и прочая, не осмелился. Смешно?

— Не очень...

Джо никогда не позволял себе попусту досадовать: с потерями надлежит мириться быстро и легко.

— Все равно палачи получают по заслугам! — провозгласил он, чтобы успокоить Голана, и тут же получил ехидный вопрос: откуда... известно, кто палач, а кто жертва? Не превратятся ли потом палачи в жертвы?.. Ах, сообщения! Значит, до суда, без суда все всем ясно и можно требовать смертной казни.

— Я не требую, — пробормотал Джо.

Но Голан удалялся в будущее, откуда нынешнее разоблачение может перевернуться и оказаться подделкой. А что, если с годами выяснится: кому-то потребовался заговор, нужны были шпионы, и новая порция ненависти, и новые внутренние враги, так же как это делают сейчас в

Штатах?

Последнее соображение ошеломило Джо, такое сравнение не приходило ему в голову.

— Внутренний враг — полезнее наружного. Для политиков, — произнес Голан напрямую, без всяких оговорок. Что-то с ним стряслось, если он решил говорить по телефону не остерегаясь.

На всякий случай Джо изругал политиков с их грязными комбинациями. Такой ученый, как Карел Голан, выше всех этих паразитов. Его биография — это его библиография, его имя не зависит от политики.

— Наука, наука... — пренебрежительно повторял Голан. — Из нее сделали горничную. Нет, денщика для генерала. Из нее вынули божественную идею. Чему служит наша наука?

Не ожидая ответа, он признался, что уступал и уступал им, пытаюсь найти какое-то равновесие выгоды. Лгал, выступал с холуйскими речами, оправдывал мерзости. Взамен получал для лаборатории привилегии, хороший бюджет... “Никто не знает, чего это стоило” — последняя эта фраза особо запомнилась Джо. Научный авторитет Голана возрастал, он продавал его все дороже.

Холодно, отрешенно анализировал Голан историю своего самопожертвования. Он считал, что получает больше, чем жертвует...

— Послушайте, Карел, с чего это вы вдруг стали считать?

— Они разрушили меня.

— Как это?

— Раз-ру-шили, — повторил Голан. — И вас будут разрушать. У нее много голов, у этой гидры. Есть хамы, есть садисты, есть льстецы, но все это обличия дьявола, имейте в виду.

Странно было слышать такое от всегда уклончиво-осторожного, запуганного Голана, как будто с него сняли все ограничители. Но даже в тот момент Джо не усомнился в его нормальности. Потом, восстанавливая в памяти этот разговор, он сообразил, что Голан излагал хорошо обдуманно вещи.

— Наверное, вы видели чумные столбы на наших площадях. В память об избавлении от чумы. Так вот, у нас чума.

Джо никак не удавалось увести его мысли в иную сторону.

— Чуму разносят крысы, — говорил Голан. — Чуму не лечат, от нее бегут!

— Боже мой, Голан, что с вами, я не узнаю вас.

— Они уверены, что всеильны. А это так просто опровергнуть... Никогда не думал, что это так просто.

Как установило следствие, спустя полтора часа после их разговора Голан покончил с собой. Вышел на балкон своей квартиры на пятом этаже и бросился вниз. Скончался, не приходя в сознание, в машине “скорой помощи”. Перед смертью написал письмо своим сотрудникам и короткую записку родным. Содержание письма осталось неизвестным, его изъяли следственные органы в присутствии сестры покойного вместе с другими бумагами.

Следователь, молодой, вкрадчиво-любезный, прилизанный, похожий на вышколенного официанта, объявил Джо:

— Вы в сюжете.

Попросил рассказать о телефонном разговоре с К. Голаном. Выслушав, посочувствовал:

— Обидно, что он не передал ваше письмо. Это ведь был ваш гражданский подвиг. Вы имели полное право возмутиться. Дорога ложка к обеду. Он ведь с вами считался?.. Не могли ли на него подействовать ваши упреки? Знаете, как это бывает, — еще одна соломинка, и все, хребет сломался. Последний толчок. О нет, вы и предположить не могли, ваша непричастность очевидна. Но у вас не было никаких подозрений? Или предчувствия?

Джо прошибло жаром — как же не почувствовал? Он должен был почувствовать! Ведь был сигнал, пусть и слабый...

Следователь впился в него глазами.

— Вспоминайте, вспоминайте!

— Пошел ты знаешь куда! — рявкнул Джо по-английски в лучших традициях старого Бруклина.

— Не хотите вы нам помочь, — удрученно сказал следователь. — В своем письме Голан кается, что не выполнил вашей просьбы. Считает, что после его смерти послание ваше передадут властям. Выходит, принял близко к сердцу ваши упреки... В каком-то смысле, если смотреть объективно, его самоубийство пошло вам на пользу.

— Ловко вы поворачиваете, — сказал Джо. — Вы мастер своего дела.

— Спасибо, но будет лучше, если вы постараетесь отвечать по существу.

— Тогда давайте подумаем, когда Голану пришла мысль о самоубийстве. После разговора со мной или же до этого?

Физиономия следователя настороженно застыла. Джо продвигался на оупь, в темноте, какая-то не ясная еще мысль влекла его.

— Думаю, до.

— С чего вы решили?

Другой, не с таким музыкальным слухом, как у Джо, возможно, и не заметил бы небольшого смещения в тоне следователя. В разговоре с Голаном однажды тоже тональность сбилась, пошла на крещендо, вот это-то место и надо было вспомнить.

— Я знаю, — сказал он, — есть ведь запись нашего разговора.

Следователь ответил тонкой улыбкой.

— Дайте прослушать, и я вам докажу, — сказал Джо.

— А без нее?

Джо подумал.

— И без нее можно.

— Так все же — почему Голан покончил с собой?

— Может, устал. Надоело. — Джо помолчал и добавил: — Но, может, был и толчок.

— Какой? — быстро спросил следователь, и любезность его исчезла.

— Толчок был до разговора со мной, — так же быстро сказал Джо.

— Какой? — повторил следователь.

— Вот это вам и предстоит выяснить.

— Ваши догадки бесплодны. — Следователь встал, прошелся по комнате. — Самоубийство всегда тайна. Боюсь, что мы никогда не узнаем истинной причины. Винить кого-то нельзя. Даже если ему угрожали чем-то... Он бросил взгляд на Джо, вздохнул. — Ваше имя мы упоминать не будем. У нас есть документы, свидетельствующие, что профессора использовали в своих целях заговорщики.

Он проводил Джо до лестницы и на площадке, прощаясь, задержал его руку.

— Напрасно он испугался... Никто бы его не тронул. С таким именем... Какой нам смысл такого человека...

Назавтра вместо некрологов газеты поместили краткие заметки о самоубийстве профессора К. Голана, известного ученого, которого “запутал в свои сети Сланский”, — “еще одна жертва заговорщиков”.

В лаборатории и в Академии наук сотрудникам посоветовали не ходить на похороны. От дирекции послали скромный венок. Джо поехал на кладбище.

У могилы собрались несколько человек родных. Двое неизвестных стояли поодаль под зонтиками и всех фотографировали.

Шел надоедливый осенний дождь. Слышно было, как он стучит по дубовой крышке гроба. Все молчали. Никто не решался произнести прощальное слово. Это была нехорошая минута. Каждый ощущал свое молчание, не за кого было спрятаться. Сестра Карела тихо плакала, она не разрешила поехать на кладбище ни своему мужу, преподавателю университета, ни сыновьям-студентам. Молчание затягивалось, становилось невыносимо стыдным. Могильщики приготовили веревки. Джо откашлялся. Он не осуждает молчание людей, с их стороны потребовалось немало, чтобы прийти сюда, — но знает ли кто из них, что потеряла наука? По-настоящему никто не знает, и Джо не знает, что бы еще мог создать мозг Голана. Оценить сделанное тоже нелегко. Займутся этим на будущих конференциях его памяти.

В этом месте один из молодых людей подошел поближе и стал записывать речь Джо, делал он это напоказ, как бы предостерегая оратора. Джо повысил голос, обращаясь теперь к ученикам Голана, которых здесь не было, к его коллегам в других странах, к тем, кто будет пользоваться его работами.

Записи в блокноте вошли в досье, и через много лет, когда я читал их, они означали куда меньше, чем в тот день на кладбище. В самом деле: “Карел Голан составляет гордость чешской науки. И ее трагедию”. Сегодня это звучит тривиально.

Можно лишь догадываться по этим торопливым записям, какой крамолой казались слова Джо и с каким удовольствием их подшивали в толстую папку И. Брука “1951—1983 гг.”.

Признаюсь, для меня было большой радостью, что Джо заговорил, не решился он, мой интерес к моему герою упал бы. Из-за этой надгробной речи я многое простил ему. Он единственный, кто выступил на похоронах, попрощался с Карелом Голаном от имени всех, сказал ему спасибо за то, что Голан спасал честь и достоинство чешской науки.

Гроб на белых веревках опустили в мутно-желтую воду, в которой отражалось тяжелое низкое небо, ветви березы и склоненные лица людей...

Господи, прости нас, грешных, мы все виноваты перед тобою, Карел.

Сперва сровняли могилу с землей, потом вырос холмик в форме гроба, все смотрели, как ловко обшлепали его лопаты могильщиков. “Вот так же обозначат и каждого из нас, точно таким же холмиком и обшлепом...” Не впервые Джо сталкивался со смертью лицом к лицу, она молчала, не выдавая, что хотел сказать Голан напоследок, зачем позвал ее. То, что Голан мертв, было понятно, что его труп положен в землю — очевидно, но от этого Голан не исчезал. Им продолжали интересоваться и здесь, в Праге, и за рубежом...

Сестру Карела звали Здена. Серые пышные волосы делали ее молодое лицо еще моложе. Она показывала Джо фотографии в кабинете Карела Голана. В

рамочках на темно-синих обоях висела как бы галерея предков — деды, прадеды в сюртуках, мундирах, бабки в кринолинах, огромных шляпах с перьями, девицы, перетянутые в талии, усатые очкарики времен Дворжака и Яначека на фоне античных колоннад, спокойные, добрые лица. А вот и маленький Карел, белокурый, в коротких штанишках, он стоял между матерью и отцом, таким же пучеглазиком в пенсне, мать грудастая, веселая, белый кружевной зонтичек на плече. У Карела удивленно поднятые брови, как и у матери.

Кабинет хранил устойчивый запах трубочного табака, старой кожи, каминного дыма. Огромное кожаное кресло стояло у камина. Старый граммофон с красной пастью трубы. Этажерка, набитая справочниками. Книг было немного. В двух шведских шкафах сочинения Декарта, Гёте, Толстого, Диккенса. Громоздкий бронзовый письменный прибор с двумя чернильницами, подсвечниками, пресс-папье. Вещи потомственные, переходящие из поколения в поколение. Здесь все имело почетную родословную, все было связано с именами, известными чехам. Какие-то коллективные снимки конгрессов, конференций. Здена показывала Карела — вот он, в центре. Группа молодых гениев на пароходе, некоторые лица казались Джо знакомыми, но узнал он лишь Жака Адамара по отдельной фотографии с дарственной надписью, сделанной великим французским математиком, и чешского математика Эдуарда Чеха.

На синем сукне стола лежали вверх дужками очки Карела Голана. Значит, перед тем как выйти на балкон, он снял их. Джо перегнулся через балконную решетку. О чем он думал, когда летел, когда уже нельзя было вернуться назад? Так легко перемахнуть через эти узорчатые перила? Ощущение полета соблазняло, высота втягивала, это было так просто... “Это так просто, — вспыхнули перед ним слова Карела. — Никогда не думал, что это так просто”. Наконец-то Джо вспомнил! Именно три этих слова! Голос Карела потому и изменился, что у него все было решено! Бесповоротно решено! Он говорил как бы уже после падения, с того света — очищенным от страха, полнозвучным голосом.

Здена сидела на кушетке и плакала. На кладбище она кое-как держалась, а сейчас дала волю слезам. Карел не имел права кончать с собой, он должен был предвидеть, как они повернут его самоубийство! На их семью ляжет позор, у них будут неприятности, шутка ли — объявить его причастным к этим предателям и шпионам. Джо молча ходил по кабинету. Честь семьи, фамильная гордость, у него никогда не было ничего подобного и не будет, потому что у него не было родословной, не было предков, оседлой жизни, где по наследству передаются вещи, дома, предания, обычаи, этот отлаженный быт.

— Вы должны нам помочь, — вдруг тихо сказала Здена. — Они не имеют право клеветать на Карела, он ведь подписал бумагу, которую они привезли.

— Какую бумагу? — вскинулся Джо.

Оказывается, в тот вечер Карел позвонил сестре и рассказал, что к нему приезжали и требовали подписать заявление в газету, где он бы осуждал заговорщиков, выражал свое возмущение и требовал самой суровой кары.

Он подписал. И он был в отчаянии от того, что согласился, уступил.

— Так вот в чем дело, — сказал Джо. — Теперь понятно. Они разозлились потому, что Голан ускользнул.

— Но они не имеют право мазать его грязью.

— Наверное, это и подтолкнуло его.

— Может быть, он написал об этом в предсмертном письме.

— Вы читали его? — спросил Джо.

— Нет, не читала. Мы приехали с мужем. Мы видели это письмо. Но оно было адресовано не нам.

— О господи! — сказал Джо. — А теперь какого черта вы мне все это выкладываете? Что я могу?

— Вы человек независимый. Вы иностранец. Они должны считаться с вами... Вы где-то там сможете сообщить... Я хочу защитить имя Карела.

Джо стоял перед ней, засунув руки в карманы.

— Не смотрите на меня так, — сказала Здена. — Да, я сейчас забочусь о своих детях. Карел не подумал о них, у него не было детей.

— Они не знают, что вы знаете... Вам лучше помалкивать об этом.

Она поняла.

— Я никому не говорила. Может, и вам не надо было?

— Может быть, — сказал Джо.

На камине стоял мраморный бюст Марка Аврелия с латинской надписью.

— Что здесь написано? — спросил Джо.

— “Скоро ты забудешь обо всем, — перевела Здена. — И все в свою очередь забудут о тебе”.

— Это правильно, — сказал Джо. — Вряд ли я что-то смогу. Попробую, конечно.

В суматохе этих дней он как-то не заметил исчезновения Магды. Он приходил домой и ложился на диван, лежал бездумно, дремотно, иногда так и засыпал не раздеваясь. Приходил на работу небритый, в мятой рубашке... Когда с ним заговаривали, он некоторое время заставлял себя слушать, потом ему становилось скучно, он поворачивался и уходил. Газеты, погода, радио, книги, еда, девицы — все стало неинтересным. Музыка и та звучала тускло. Не хотелось никуда идти. Жизнь внезапно лишилась смысла.

Неизвестно, был ли он раньше. Наверное, был, потому что Джо был занят борьбой. За каждый день своего пребывания в этом благословенном мире. Он рожден был для борьбы: со своими слабостями, недугами, беспомощностью своей мысли, сам процесс борьбы был наслаждением независимо от того, побеждал Джо или нет. И вдруг все это утратило смысл.

Он лежал и слушал, как через него перетекало время. Время текло в этих неприбранных комнатах, на этой кровати, в затхлом, непроветренном воздухе точно так же, как если бы он мчался в машине, выступал на конгрессе, занимался любовью, — часы и дни шли бы с той же скоростью.

...Самоубийство не грех, жизнь — единственная собственность человека, и он вправе распоряжаться ею по-своему. Нельзя постоянно зависеть от жизни, слишком ценить ее. Жизнь — короткая искра между двумя полюсами небытия: вечностью до рождения и вечностью после смерти, мгновенная вспышка, стоит ли относиться к ней всерьез? Карел Голан жил в страхе, в последний раз он уступил тоже из-за страха, но затем он взбунтовался и перешагнул перила. Было ли это восстание или же победа совести? Или что-то еще. В какой-то книге о России Джо читал про раскольников, которые сжигали себя, не желая подчиниться новой вере. Самоубийство придало жизни Голана какой-то новый смысл. Снова он возвращался к тому, что происходило в кабинете Голана, прокручивая их разговор. Голан перешагивает через перила, летит вниз, долго летит, и вместе с ним летит Джо, затем к ним присоединяются Этель и Юлиус Розенберг, все они падают вниз головой на камни. “Видите, — говорит Голан, — я лечу добровольно, и Розенберги тоже добровольно, а вы, Джо, сопротивляетесь, вы не хотите, но все равно вы тоже несетесь вниз”.

Суд приговорил Розенбергов к смертной казни.

Время от времени радио сообщало, что им обещают помилование, если они признают свою вину, то есть признают себя советскими шпионами. Они сидели в камере смертников, и, по слухам, психологи по указанию ЦРУ занимались их психологической обработкой. Пока безрезультатно.

По ночам Джо ловил американские передачи. Он никак не мог понять, хочет ли он, чтобы Розенберги оговорили себя и остались живы. Он ставил себя на их место и не находил выхода. Журналисты, судя по сведениям, доходившим из тюрьмы, считали, что Розенберги должны уступить, хотя бы ради детей. “Ну что ж вы молчите, — говорил голос Голана, — скажите им, посоветуйте”.

...Они падали, все четверо, вместе, неслись так, что у Джо замирало сердце, это было как в детстве, когда он просыпался от страха, что камнем летит вниз.

Разговоры с людьми казались пустыми. Однажды позвонила Милена, поблагодарила за деньги, да, да, сказал он, извини, я занят.

Никому на всем белом свете не было дела до него (если бы так!). Он зарос, ел с немойтой посуды, квартира превратилась в хлев, в грязную, дурно

пахнущую ночлежку.

Другие запивают, входят в штопор, буянят, у каждого свое, этот, по отчетам спецслужб, впал в апатию. У творческих натур это бывает. Наблюдение сообщало также, что у Брука никто не бывает, никто не звонит, и “африканец”, так его именовали в донесениях, считает себя покинутым. Судя по всему, кризис разразился после самоубийства профессора. Придется с ним повозиться. Но сейчас трогать не следует: пусть доходит. Он не прыгнет, не повесится, его на плаву будет держать идея, идея его из любой ямы вытащит. Когда у человека появилась идея, когда он понял, что нашел истину, он на любое пойдет, любые оправдания отыщет, любые лишения перенесет. Ведь даже Голан согласился стать информатором ради поездки на какой-то месячный симпозиум в Англию, там он, бедолага, доложил о своем открытии, заработал аплодисменты, мантию. “Африканец” из того же материала. Когда оклемается, с ним придется провести профилактику.

Он человек умный, поймет, что и действия его, и разговоры, и встречи — прозрачнее, чем ему кажется, и соответственно оценит наши заботы о его безопасности. Объект, однако, не должен думать, что он совершенно прозрачен, ему нужна иллюзия одиночества, заброшенности, ему надо дать укрыться от всех, иначе может свихнуться.

ХП

Винтер ничего не пояснял. “От того, кто ничего не знает, никто ничего и не узнает”, — повторял он. Одно было ясно: они двигались на юг.

Машина, старый красный “додж”, к полудню раскалилась. Андреа попросил остановиться в тени, передохнуть. Винтер отказался, это, мол, не туристическая поездка. Был он в кожаных брюках, клетчатой рубашке, на плече — свернутое пончо, но не испытывал ни жары, ни голода, ни желания остановиться по нужде. До темноты всего однажды неохотно уступил настояниям Эн, когда свернули на сельскую дорогу у бензоколонки. Время от времени Винтер сверялся с нарисованным от руки планом. Остановились на окраине поселка перед одноэтажным мотелем. Кроме подвыпившего хозяина, в нем не было ни души. Винтер расположился в соседнем номере. Предупредил, чтобы никому не открывали.

Утром красный “додж” исчез, на его месте стоял потрепанный “виллис”. Оставляя за собой хвост пыли, ехали весь день по разбитым дорогам мимо банановых плантаций, апельсиновых рощ. Заночевали у какого-то фермера в горах.

Подняли их затемно. Перевал. Холодина. Дорога крутила, они заблудились, не там свернули, вернулись обратно через тот же перевал. Хижины. Плато. Снег. Мистер Винтер куда-то уехал. Они сидели в доме, сложенном из камней. пылал огонь в очаге. Кипел огромный медный закоптелый чайник. Индианка ногой качала люльку и толкла кукурузу. Андреа сказал, что не желает больше терпеть грубостей Винтера. “Если где-то там решили, что с нами стоит возиться, нам не мешает то же самое думать о себе”. В его тоне не было раздражения. У него все обдуманно. Он ошибался в простых

житейских вопросах, его обманывали на рынках, выманивали деньги, обсчитывали в барах, и вместе с тем он вдруг поражал Эн своей прозорливостью, точным психологическим расчетом. Совместная жизнь, какой бы обрывчатой она ни была, поворачивала их друг к другу незнакомыми сторонами. Происходило узнавание. Андреа утомлял своей аккуратностью, почти педантичностью. Эн была обидчива, пустячное невнимание — и она погружалась в мрачное молчание. Она ничего не могла поделать со своим самолюбием. Поначалу ее оскорбляла задумчивость, которая как бы отнимала у нее Андреа, делала его глухим и незрячим. Не сразу до нее дошло, что вместе с той жизнью, которую они вели, у него шла своя, неведомая ей работа мысли. И то, что эта работа не прерывалась, несмотря на переезды, нужду, страхи, и радовало и пугало ее. В этой, другой его жизни Эн не было места, и она не могла ничем помочь ему.

Винтер вернулся с молодым индейцем, голова его была повязана красным платком. Поели лепешек, выпили пулькэ, подремали, ночью по кромке заброшенных карьеров спустились к реке. Выглянула луна. В зеленом неверном свете река открылась большая, бурная. Найдя брод, индеец повел их по камням, через коряги, вода была ледяная, шли не поперек, а зигзагами. Андреа держал Эн за руку, на другом берегу Эн хотела передохнуть, но индеец торопил их. Андреа и Винтер тащили Эн в гору, подхватив с обеих сторон. Они должны были скорее уйти вглубь, подальше от границы. До рассвета. Эн задыхалась.

— Видите, я был прав, с вами намучаемся. — Винтер ругался по-польски, проклиная свою судьбу, взбалмошность женщин, уверенных, что их любовь оправдает любые их идиотские поступки.

Пришлось выйти на шоссе. Проводник исчез, растворился в темноте. Винтер взял Эн под руку и стал голосовать проезжающим машинам. Свет фар обегал их, не снижая скорости. Остановился только пыльный грузовичок. Водитель-негр открыл дверцу; Винтер просил его, показывая на Эн, негр, блестя белыми зубами, весело отказывался, тогда Винтер вытащил его из машины. Негр оказался верзилой, но Винтер справился с ним легко, пригрозил пистолетом, сунул какие-то деньги, Андреа вскочил в кузов, и они поехали. Грузовичок пропах чесноком и луком. Они обогнули Масатенаго, не заезжая в город.

Каким-то чутьем Винтер находил в темноте дорогу, и довольно быстро они добрались до монастыря францисканцев. Грузовичок Винтер загнал на стоянку. В монастырь они пришли пешком. Там их ждали, но появление женщины не было предусмотрено, и Винтеру пришлось уговаривать настоятеля. Их поместили в гостевом флигеле. Проспали до вечерней обедни, апельсинно-оранжевое солнце уже опускалось, заглядывая в келью. Монастырь стоял над обрывом. Каменные лестницы вели в низину, в городок, рассыпанный между зелеными холмами.

Железное распятие на стене. Побеленные голые стены, железная кровать, на которой они спали, стол, два стула, на столе — библия в черном кожаном переплете. И тишина. Настоянная десятилетиями молитв тишина, которую не нарушали ни пение птиц, ни стук башмаков по каменным плитам монастырского двора. Они сидели, блаженно отдаваясь покою. Здешний

покой располагал к сосредоточенности, к внутренней жизни, не имеющей ничего общего с их волнениями.

Зазвонил колокол, созывая к вечерней молитве. Эн спустилась в церковь. Андреа остался. Из детства приходили слова молитв. Когда-то он повторял их вслед за матерью, не вдумываясь в смысл. “Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты вознесешь голову мою...” “Да услышит тебя Господь в дни печали, да защитит тебя имя Бога”... В нем никогда не было насмешки над верующими. Он считал, что это остатки прошлого страха перед могуществом природы. В Бога он не верил. Старинный этот монастырь внушал не веру, скорее уважение к людям, которые здесь годами размышляли о таинствах Священного писания. Работа мысли для Андреа много значила, но он не знал, можно ли мыслью дотянуться до Бога. Его мысль никогда не обращалась в эту сторону жизни. И то, что сейчас он чувствовал, было странно. Вместо “помилуй” он просил: “Спаси! Спаси нас обоих, дай ей силы выдержать этот путь!”

Следующая машина была “крайслер”. Путь через Гватемалу, Гондурас запоминался по машинам, которые Винтер где-то добывал, менял. Остальное мелькало, сливаясь в одну ночную, высвеченную фарами дорогу: белые столбики, встречные огни, чашки горячего кофе, выпитые наспех, поселки, бары, молчаливые спутники. Центральная Америка проносилась, закутанная в ночную тьму. Черные пальмы, черные кактусы, свежесть океана — и снова раскаленный воздух, запахи миндаля, сахарного тростника, лимонных рощ. В Панаме “кузен” мистера Винтера вручил им билеты на самолет; у Винтера всюду были “кузены” и “кузины”, панамский — имел сапожную мастерскую, лихие усы и жену-мулатку, которая сразу же принялась лечить Эн от простуды. Поселили их по соседству, в старом испанском отеле, окруженном кирпичной стеной, внутри — двор с фонтаном, голубые агавы, белые железные стулья на галерейке и всюду плющ...

И шепот, и осторожные взгляды...

Накануне отлета мистер Винтер не пришел ночевать, наутро он тоже не появился. После обеда пришла жена “кузена” с базарной корзиной и сообщила, что мистер Винтер арестован. Подробности неизвестны. Его отправили в полицейский участок, оттуда, кажется, в тюрьму. Решено было никуда не двигаться, подождать еще сутки, другие.

Назавтра в городе поднялась стрельба. По улицам загрохотали бронетранспортеры. Вход в отель облепили плакатами. Произошла то ли очередная революция, то ли мятеж.

Без Винтера они оказались беспомощными. Ни денег, ни адресов польского посольства в этой банановой республике не было. Оставалось советское посольство, но стоило Эн представить этот вариант — расспросы, проверки, недели ожидания — ее охватывало отчаяние. Она сорвалась, накричала на Андреа за насмешки над Винтером. Все же они решили никуда не трогаться, не может быть, чтобы Винтер не выкрутился, не дал знать о себе. К вечеру бездействие доконало Андреа, он сказал, что не вправе покинуть Винтера в беде, надо ему как-то помочь. Это было неожиданно для Эн. Он оставил ее в

гостинице, сам пробрался к дому “кузена”, нашел того в кровати забинтованного, в кровоподтеках, избитого. Кем, как — Андреа не узнал. “Кузен” посоветовал отправиться к начальнику тюрьмы, договориться — чтобы тот выпустил Винтера под залог. Такова здешняя форма взятки. Надо, чтобы начальник не заподозрил в Андреа американца, иначе запросит много, грек — это годится, и не больше двухсот долларов, да — да, нет — так нет, послала фирма выкупить одного из своих служащих, не хотят — не надо, биться за него не станут.

Утром жена “кузена” проводила Андреа до тюрьмы. Роль свою Андреа исполнил флегматично: двести? давайте двести. Наверное, можно было выкупить Винтера и подешевле. Андреа сохранял равнодушие, Винтер зевал, потягивался. Только выйдя на улицу, он похлопал Андреа по плечу, так ничего не сказав.

Назавтра они, не дожидаясь самолета, перебрались в Панаму, а оттуда теплоходом — в Колумбию. Они ничего толком не увидели, ни Панамского канала, ни прекрасного озера Готун, ни самой Панамы.

Самолетом в Дакар, пересадка в аэропорту, самолетом в Мадрид. День в жарком номере отеля, оттуда в Барселону и далее в Ниццу. Снова отель, снова Винтер приказывает никуда не отлучаться, сам куда-то исчезает, возвращается переодетый, в черном смокинге, с бабочкой, просит “одолжить” на вечер Эн, везет в какое-то ателье, где ее одевают “напрокат” в длинное темно-синее платье, украшенное жемчугом, и они вдвоем с Винтером отправляются в ювелирный магазин, Винтер покупает кольцо, кольца, браслеты, все дорогое, расплачивается наличными, тратит, по словам Эн, тысячи, все это якобы для Эн. Садятся в машину, там еще поляк-шофер и поляк-провожающий. Они о чем-то договариваются по-польски. Их подвозят к какому-то дворцу. На приеме пробыли два часа. Мистер Винтер, которого надо было называть Фреди, изображал довольного собой, своим состоянием, своей молодой красавицей женой латиноамериканского дельца, грубоватого выскочку, раза два он отлучался, оставляя Эн на попечение французских киноактеров, кое-как говорящих по-английски. Они наперебой угощали ее, потом Винтер повел ее в компанию солидных седоголовых депутатов, с кем-то знакомил, от кого-то передавал приветы. Прием промелькнул как бобслей. Эн даже ничего толком не могла рассказать Андреа. Зато на следующий день они после обеда, оставив записку Винтеру, отправились на набережную. Неслыханная синева залива, белые виллы, цветы, легкий воздух Лазурного берега — все поражало их здесь неизвестной, европейской красотой.

В сущности, они впервые увидели Старый Свет. Старины было много, старина была подлинная, не привозная, рожденная здесь: кованые ограды, золоченые ворота тончайшей работы, дворцы, дивные цветочные клумбы, похожие на дорогие ковры. Лучшее отбиралось из века в век, красота наращивалась. Архитектура, старая и новая, привлекала внимание Андреа, а Эн особенно нравилась толпа. Одеты со вкусом, все — от продавцов мороженого до пожилых дам и старичков — в шелковых жилетах и канотье. Платочки, духи, туфельки, улыбки, просто приветливость — во всем мера, воспитанность. Отличие от Нового Света было разительное, а вот определить его они еще не могли. К тому же мешала напряженность.

Поймав чей-то взгляд, они настораживались. Подозрительность Винтера заразила их. В Барселоне он сам в полночь повел их на бульвар, где при свете фонарей шумел диковинный базар, ночью торговали птицами и книгами.

А в Ницце, когда они на свой страх и риск устроили себе подобную вылазку, Винтер напустился на них: как только посмели, придется запереть их на ключ.

— Позвольте, мистер Винтер, пока вы занимаетесь своими делами, нам не хотелось бы чувствовать себя заключенными, — с подчеркнутой любезностью заявил Андреа.

— Я занимаюсь не своими делами, — сказал Винтер. — Вы же будете заниматься своими в Варшаве.

— Кстати, почему мы не летим туда напрямую? Ведь есть рейс Ницца — Париж — Варшава, с короткой пересадкой в Париже, час ожидания, и никаких хлопот?

— Все вычислил, какой он у нас умница, — хмыкнул Винтер, обращаясь к Эн. — Он думает, что у нас единственная забота — как можно скорее доставить это сокровище... Вы для меня попутная операция. Ясно?.. — Потом, смягчая, хихикнул. — Куда торопитесь?.. Успеете еще.

Все же в Мюнхене, в воскресенье, они проехали по городу, и Винтер, страстный любитель пива, не утерпел и остановился у какой-то знаменитой пивной. Огромный зал, весь в сизом табачном дыму, гудел, сновали официантки с огромными тяжеленными кружками, нанизанными на пальцы. Было влажно — от пива, пены, пота. Протискиваясь в поисках столика, Андреа нос к носу столкнулся со Стивеном Катнером, своим однокашником по Корнеллскому университету. Огромный, волосатый, в расстегнутой рубашке, он схватил Андреа в охапку, завопил от восторга: шутка ли, встретить в пивной труппе друга, которого разыскивают все паскудные службы, а он живой, здоровый — глаза Стива увлажнила хмельная слеза, — от такой сказочной везухи сейчас они устроят сейшак, только надо сперва отлить, иначе пузырь его лопнет и утопит всю эту немчуру... Каким-то образом между ними вклинился Винтер, попросил Андреа и Эн подождать на этом самом месте, поскольку ему тоже невтерпеж помочиться, и увел Стива, крепко обняв за талию. Через несколько минут Винтер вернулся, сообщив, что Стив засел в туалете надолго, нечего ждать, попозже он придет к ним в гости. Проговорив это громко и весело, он взял их под руки железной хваткой и вывел на улицу к машине. Включив скорость, рванул с места так, что завизжали колеса, закрутил по улочкам влево, вправо, машину заносило, он не успокоился, пока не вырвался из старого города.

Андреа попробовал уточнить, когда придет Стив — вскоре или вечером. Винтер выругался, не стесняясь Эн: надо рвать отсюда, черт их дернул сунуться в эту пивнуху. Помолчав, Андреа спросил, что он сделал со Стивом.

— Догадливый, — холодно определил Винтер, затем сказал, что Стив

наверняка уже очухался.

— Он жив?

Винтер поморщился: с какой стати заниматься уголовщиной? Почему нельзя это было сделать по-человечески? — настаивал Андреа. Стиву можно все объяснить, он верный человек... Наконец Андреа заявил, что он хочет вернуться, узнать, что со Стивом, проверить, в порядке ли он.

Винтер резко тормознул, обернулся в бешенстве:

— Закройте рот. И надолго. Или я его заткну! Я взялся вас доставить и доставлю в любом виде. Мы сейчас чуть не завалились из-за вашего дружка. Там сидела целая компания американцев, вы что, не видели? Надо сегодня же сматываться.

Эн стиснула руку Андреа, она была на стороне Винтера.

В тот же день они вылетели в Амстердам.

В Амстердаме их встретили, отвезли в частный дом под присмотр двух вьетнамцев, предупредив, что отлучаться нельзя. Андреа не мог смириться с таким режимом. С какой стати? Они свободные люди и отвечают сами за себя! Если уж очутились в Амстердаме, надо хотя бы посмотреть на картины Рембрандта, на его дом, вряд ли агенты ЦРУ ходят по музеям, все это преувеличено. Андреа искренне считал, что Винтер набивает себе цену, и Винтера это выводило из себя. Он сорвался и показал записку, полученную в Мюнхене от одного советского коллеги, который должен был прикрывать Винтера в Европе и контролировать. Однако этот советский товарищ решил не возвращаться на родину, о чем и ставил Винтера в известность. В той же записке рекомендовал Винтеру сдать ЦРУ своих “америкашек” и не возвращаться в Польшу, где идут аресты.

Сдать “америкашек” значило “остаться не с пустыми руками”, “обеспечить себе паек”.

Письмо заставляло Винтера принять меры предосторожности. Ни о каком Рембрандте не могло быть и речи. Автор письма вполне мог навести ЦРУ на след, не дожидаясь ответа Винтера, так он, наверное, и сделал, возможно, что их уже пасут. Автора письма Винтер считал предателем и вероотступником — никаких сомнений на сей счет у него не возникало. Если не считать одного варианта, и глаз его в сиянии рыжеватых ресничек хитро подмигнул Андреа. Что мог означать сей подмиг, было непонятно.

Личность Винтера интересовала Андреа как объект исследования, перед ним представитель того мира, куда они отправлялись, неведомого, сияющего на Востоке то золотом, то кровавыми отблесками. Политические взгляды Винтера выглядели четко. В Италии коммунисты выросли в самую большую партию. Во Франции получили министерские портфели, они идут к власти. На очереди Финляндия. Коммунисты повсюду набирают силу. Пришло время использовать ситуацию, валить буржуазные правительства Европы любыми способами. Чувствовалось, что для него это не просто

слова, наверняка это то, чем он и занимался и вообще, и во время их совместного путешествия.

Его не привлекали ни деньги, ни покупки, он не глазел на витрины, а в дешевых номерах отелей чувствовал себя так же хорошо, как и в роскошных апартаментах. В нем было люмпенское презрение к богатству, ко всему этому капитализму, обреченному, прогнившему строю, и держался Винтер уверенно, по-хозяйски что в Америке, что здесь, в Европе; нарушал правила езды, ставил машину в неположенных местах, не боялся полиции, в отелях тоже не церемонился, мог прихватить зонтик из холла, покрикивал на швейцаров. Словом, ничего диковинного: хотя и красный, но снаружи — вполне обыкновенной окраски, защитной, положенной при его работе. Однако как ни пытался Андреа отколупнуть, соскрести эту верхнюю защитную штукатурку, добраться до нутра так и не смог.

Сам Винтер относился к Андреа пренебрежительно, не лучше, чем к пакету, который надлежало доставить, — а есть ли там что-то полезное, его не занимало. Самолюбие Андреа было уязвлено. Он был о себе достаточно высокого мнения. Однажды ему удалось вызвать Винтера на откровенность.

— Да, вы — попутная операция. Побочная. И вам надо смириться с этим. Нам всучили вас. Пока что вы всего лишь фишки в игре разведок. Я ведь мог бы отделаться от вас. Но мне нравится игра — кто кого обставит. Берем из-под носа ЦРУ и вывозим кого хотим. Вожу по всей Европе, и ничего ваши говнюки не могут со мной поделывать. Они ведь знают, что мы все еще тут болтаемся. Узнали от этого сукина сына... — Он поднял палец, погрозил Андреа. — А может, я его зря, может, он меня проверял, вполне допустимо. — И захохотал. — Понимаете, в какое дерьмо мы их сажаем? И это потому, что кругом наши люди. Мы диктуем! Мы делаем погоду!..

Закончив, мистер Винтер закурил сигарету, с удовольствием затянулся, посмотрел на Андреа как на результат тяжелого труда. Андреа не возражал, чему-то улыбался. Это-то и раздражало, не было чувства полного удовлетворения.

— Может, вы и хороший ученый, — говорил Винтер, — а главной науке не научились. В армии не служили? Оно и видно. Главная наука нашего времени — умение подчиняться. Вы не умеете. Вы не подчиняетесь с охотой. В душе считаете меня самодуром. В армии таких гоняют до посинения. Такие, как вы, возбуждают худшие чувства.

Винтер снимал с него стружку, как он позже признался, “готовя к новой жизни”.

Амстердам был последней остановкой перед Варшавой. Накануне отлета Винтер неожиданно отправил их в город в сопровождении вьетнамцев. Разрешил зайти только в универмаг, всего на три часа, купить теплые вещи. Посоветовал Эн запастись косметикой, рейтузами, Андреа — словарями, лезвиями для бритвы. Дал деньги, все это неохотно, хмуро, как бы предупреждая какую-либо благодарность.

Покупки они сделали быстро, купили даже теплое пальто с меховым

воротником для Эн, примерно того же красного цвета, что было. Они не представляли, что еще могло им понадобиться. Купили кофеварку, маленький будильник, Андреа не удержался, приобрел себе хорошее вечное перо.

Возвращались через центр. Амстердам казался декорацией из сказки: крутые мостики, гладкая вода каналов, черепичные крыши, каменные распятия, частые переплеты окон — все словно из антикварного магазина, хотелось прицениться, купить эти забавные старинные домики вместе с цветами, ставнями, велосипедами, памятником Рембрандту. Напрасно Эн просила вьетнамцев остановиться хоть на несколько минут, нельзя было даже опустить стекло в машине...

Летели самолетом голландской компании “KLM”. Винтер заказывал порцию за порцией виски, захмелел, стал красно-белым. Зеленые глаза его блестели. Теперь все, добрались, вывез. Теперь все можно, то есть тоже не совсем. А вообще-то он советует поменьше трепаться. Как у англичан: заговори о дьяволе — и он тут как тут. Можете жаловаться на Винтера, что он не пускал никуда, ради бога, только не хвалите его.

— Ничего страшного, — примирительно сказал Андреа. — Мы решили, что Амстердам мы обязательно посмотрим.

— Это когда же? — поинтересовался Винтер.

— В ближайший отпуск.

— Ну-ну, — сказал Винтер.

В своем отчете (куда надо) Винтер, как и полагалось, высказал свои соображения о характерах доставленных американцев. Написал, например, что Эн часто сдерживала Андреа от резкостей, поэтому картина получилась сглаженной, несостоявшиеся поступки не всегда угадывались. Несомненно, Костас — сильный человек, хорошо закрытый и знающий себе цену. Аналитические способности позволяют ему опережать оппонента. В спорах, в логике берет верх. Слабое место, которое следует использовать, — доверчивость.

Изучая эту записку, я чувствовал, как мешало Винтеру ощущение значительности Андреа, которое он подавлял в себе резкостями, нажимом. Природу этой значительности (то ли талант, то ли властный характер) Винтер не определяет, ограничивается перечислением: Костас молчалив, высказывается в крайних случаях, самолюбив, точен, настойчив, интересуется музыкой, философией, меньше ожидаемого — политикой, весьма наблюдателен. С некоторой обидой замечает, что ему не удалось уговорить Андреа сыграть на гитаре, которую он всегда таскал с собой. Спиртное не любит, терпим к пиву. Женщины, азартные игры не являются пристрастиями. О социалистическом обществе, о странах социализма имеет идеализированное представление. К деньгам относится бережно. К еде безразличен, за исключением фруктов. Довольно подробно описывает отношения с Эн, с некоторыми интимными деталями. Цитирует и высказывания Андреа Костаса, очевидно, в конце пути: “Я не думаю,

мистер Винтер, что по вас можно судить о людях нового общества. Ваша мораль не коммунистическая. Вы злы, жестоки, для вас люди — это фишки. А между тем Сталин говорит о том, что человек — это высшая ценность... Если мы там будем у вас такими же фишками, то незачем ехать к вам”. С какой целью Винтер подробно передал этот разговор? Может, он хотел дать через Андреа свою характеристику, достаточно положительную для себя? Но можно увидеть в этом и желание как-то застраховать своих коллег и прочие инстанции от упрощенного подхода к “объекту”.

Кое о чем Винтер умолчал. Например, о случае в мюнхенской пивной. Или о “самовольных отлучках” своих подопечных. И Андреа Костас, когда его вызвали по делу Винтера, тоже не упомянул об этих происшествиях.

XIII

Прилетели в Варшаву вечером. Встретили их у трапа и, усадив в машину, привезли в отдельный, устанный коврами флигель аэровокзала. Какие-то люди обнимали Винтера, жали ему руку.

Через час они очутились в городе, в приготовленной для них большой квартире был накрыт стол. Они наспех умылись, переоделись. Стали появляться русские и поляки, все мужчины — военные, штатские — приносили цветы, шампанское. Некоторых Винтер представлял подробно, некоторых называл невнятно. Посадили Эн во главе стола и принялись отмечать счастливое завершение операции. Пили за Винтера, за каких-то людей, которые “обеспечивали”. Люди эти поднимались, с ними чокались. Заставили пить и американцев — Андреа кое-как справился со стаканом водки, Эн стало плохо. Мистер Винтер изредка переводил длинные тосты, в которых славил Сталина, партию, Берию, бесстрашных разведчиков, их новое достижение. Подходили к Эн, целовали ей руку. Андреа — по-пьяному в губы, что-то горячо шептали на ухо, вполне возможно, их принимали за американских, то есть наших, разведчиков.

Когда пили за вождей, все вставали, вытягивались, каменя. В промежутках рассказывали какие-то истории, подмигивали, громко хохотали. Винтер объяснил, что это анекдоты, казарма. Нещадно курили — и пили, пили... Андреа ужасался и восхищался их богатырской силой. Они казались ему героями, у всех ордена или ряды орденских планок.

Эн стойко держала улыбку, понимая, что за ней наверняка наблюдают. В разгар вечера она ушла в ванную, от выпитой водки ее вырвало. С трудом привела себя в порядок, напудрилась и, скрывая усталость, вернулась к столу...

Утром в квартире появилась девица, принесла завтрак, весь день убирала вместе с Эн остатки пиршества, насованные всюду окурки. Затем началась свободная жизнь. Им никто не мешал, они могли гулять по Варшаве не прячась, заходить в кафе, в кино. Девица кормила их три раза в день. Они отсыпались, отъедались, хотя не могли съесть и трети того, что им приносили — утки, пироги, бифштексы, яйца, колбасы, торты... Не рекомендовалось только одно: знакомиться и общаться с кем-либо, а также приглашать к себе, сообщать свой адрес, писать письма, выезжать за город,

звонить по телефону. А в остальном — все что угодно.

Девушка, их кормилица, уносила с собой тяжелые сумки недоеденного. Андреа и Эн наслаждались одиночеством и друг другом. Впервые они получили свое постоянное жилье. Окно их спальни выходило на восток. Огромное зимнее солнце всходило поздно над заснеженными крышами, забиралось к ним на подушки. Они любили друг друга — весело, изобретательно, радуясь вспыхнувшей, совсем юной чувственности.

Их никто не беспокоил, о них словно забыли.

Винтер не показывался. Телефон молчал. Еще в самолете Андреа готовился к тому, что их будут осаждать репортеры. Он спросил Винтера, можно ли рассказывать об их путешествии. Вспомнилась быстрая усмешка Винтера — “наши репортеры нелюбопытны”. Во всяком случае, его ожидала работа, его должны были завалить работой: шутка ли, такие деньги истрачены на их путешествие!

В Мексике Эн мечтала остаться с Андреа вдвоем, поселиться в каком-нибудь месте, где их никто не знает, чтобы ни с кем не делить Андреа, избавиться от страхов, чувства погони, от общества прокуренного Винтера, его придинок и грубостей. Провидение услышало ее и подарило все, полностью, в наилучшем исполнении: незнакомый город, где никому до них не было дела, квартиру, зимнее солнце на темном паркете. Без забот о еде, белье. Они попали в теплый покой. Никто не будил их, не ждал, некуда было торопиться. После всей этой гонки, мелькания городов, границ, отелей, халуп наступила тишина. Они причалили. Наконец-то они могли приступить к жизни. Нужно только отдышаться, прийти в себя, как стайерам. Они пробовали свободу на зуб, на вкус, гуляли, взявшись за руки, по Варшаве, смотрели, как поляки восстанавливают разрушенный в войну город. На заборах висели раскрашенные проекты, фотографии прежнего Старого города с его улочками, узкими домами средневековья, балконами, арками. Горожане ютились в подвалах, бараках, но извлекали из развалин уцелевшие обломки решеток, перила, орнамента, любую мелочь. Квадратные метры жилплощади не так интересовали этот измученный войною народ, как жажда восстановить Варшаву. Они не строили, они восстанавливали свою историю, душу города. Это завораживало.

И по квартире Эн и Андреа ходили взявшись за руки, сидели на пол, разглядывали друг друга.

Андреа был как зеркало. Лучше зеркала, потому что в его глазах Эн видела не морщинки, не надоевшую прическу, а свою красоту, высокую тонкую шею, которую он так любил.

Иногда она чувствовала: он присматривается к ней. Это была его манера. Он изучал людей, с которыми имел дело, проверял их на надежность, на искренность примерно так, как делал это с Винтером. Теперь то же самое с ней. Между ними существовало нейтральное пространство, на которое они опасались вступать. Их разделяло табу — ее дети. Это была ее боль, которой он не смел касаться. Он все искал причину, по которой она могла бросить их, бросить Боби и бежать с ним. Боб был хорош собою, не хлюпик,

он нравился бабам, и Эн вроде бы с этим примирилась. Что же сорвало ее с насиженного места? — его рациональный ум искал причину и не находил. Увлечение, любовь, но все же она совершила выбор, а выбор для него означал процесс сравнения, то есть расчет. Он мог представить себе порыв, то есть что-то временное, но временное должно было кончиться, они приступали к постоянной жизни, — не жалеет ли она? Ему хотелось понять, за что она его любит, извечное бесплодное стремление, которое свойственно любящим. Желание увидеть себя глазами другого обычно быстро проходит, у Андреа же это было задачей, которую он никак не мог решить. Выходило, что любовь к нему была сильнее, чем тоска по детям, значит, он заменил ей все, чего она лишилась. Но спрашивается — чем? чем заменил?

Он вглядывался, вслушивался, стараясь уловить — думает ли Эн об этом, не жалеет ли, не прячет ли от него свою боль? И встречал сияющий взгляд чистых синих глаз.

Ее саму удивляло ее безоглядное счастье. В глубине души она страшилась своего эгоизма. Но тут же спрашивала себя: разве любовь — это эгоизм? и разве любовь может быть не эгоистичной?

Лежа в ванне, она вдруг вспомнила, как опустила своего малыша впервые в ванну, как он вопил, а потом засмеялся и стал брызгаться. Слезы защипали глаза. Она плакала и радовалась своим слезам. В ту минуту пришло решение — она должна родить. Иметь ребенка — и все станет на свои места...

Андреа принялся учить польский, потом бросил, переключился на русский, бросил русский, занялся историей Польши, его тяготило безделье. Да, счастье не терпит однозвучности. Счастье требует, чтобы ему мешали. Но никто не мешал.

Девушка, кормившая их, быстро толстела. Как-то пожаловал офицер, осведомился, пьют ли они. Они не пили. Выяснилось, что за их счет она каждый день брала бутылку вина, а по воскресеньям коньяк и водку. Выяснилось также, что комендант их дома выписал, якобы по просьбе Эн, пианино и два туркменских ковра. Девушку сменили, комендант остался. Эн не могла понять, как такое могло происходить в стране социализма. Они видели все в идеальном свете, им казалось, что они попали в райское, коммунистическое общество, и пребывали в блаженном тумане; после случая с девушкой туман стал рассеиваться. И эта девушка и комендант считали их простодушными дурачками! Андреа позвонил по номеру, который им оставили. Дежурный не мог понять, что ему нужно, справлялся, нет ли просьб насчет одежды, книг, обрадовался, узнав, что нужен русский журнал “Природа”; трубку взял какой-то начальник — успокаивал, заверяя, что все идет по плану, врачи рекомендовали потратить не меньше месяца, двух на акклиматизацию, ежели они отдохнули, то ради бога... Через день прислали пачку многолистных анкет. Вопросы поставили их в тупик: Андреа ничего не знал о предках своей первой жены, откуда они, где, когда жили. Требовались и подробные автобиографии, послужные списки. Анкеты — на желтой бумаге. Голубые — правила секретности. Синие — обязательства, пункты и даты их путешествия... Требовалась помощь Винтера, но им ответили, что Винтер в отъезде. Они теребили свою память,

восстанавливая по карте свой маршрут по Латинской Америке. Получалось слишком много. Подумав, Андреа сократил перечень вдвое, рассудив, что незачем доставлять хозяевам столько хлопот с проверкой, и без того проверка всех ответов, по расчетам Андреа, потребовала бы год с лишним. В управлении не могли понять, чего им не терпится: хотите — свозим вас в Краков, посмотрите соборы, университет. Андреа ответил, что он ехал сюда работать, что ему надоело путешествовать, это он сказал по-польски и еще добавил кое-что по-английски. Среди малоинтеллигентных слов было обещание позвонить президенту Болеславу Беруту, единственному польскому деятелю, которого он знал. Почему-то это подействовало, и вечером к ним явился генерал в сопровождении адъютанта и двух штатских. Великолепный мундир сидел на генерале безукоризненно, ни единой складочки, ордена и медали мелодично позвякивали. У генерала была идеальная фигура манекена. Один из штатских переводил, другой фотографировал — их, их спальню, их столовую, их холодильник. “Мы высоко ценим ваше сотрудничество”, “Вы совершили правильный выбор”, “Наша совместная работа имеет политическое и интернациональное значение” — фраза за фразой вылезали из него с равными промежутками.

— Почему мы так не торопимся? — допытывался Андреа.

Генерал кивал с механической учтивостью. Бюрократия. Правила секретности. Обременительные правила. Излишества.

— Надо помочь товарищам выбрать фамилию, имя, — сказал он адъютанту.
— А также отработать новую биографию. Откуда вы к нам приехали? Допустим, из Афин. Можно из Италии. Там ведь тоже греки водятся. Скажем, товарищ Картос.

— Мы предполагали, что лучше из Венесуэлы, — осторожно подсказал адъютант.

— Можно... И вам тоже, очаровательная пани, — сказал генерал, кланяясь Эн. — Вам можно остаться американкой, только надо решить, где такие красавицы рождаются.

К ним стали наезжать один за другим хорошо одетые молодые люди. Расспрашивали Андреа про его работу в университете, на циклотроне. Более всего их интересовали радары, ракеты и прочее вооружение. В физике они разбирались плохо, вычислительные машины, которые давно манили Андреа, восприняли подозрительно, кибернетика была для них лженаукой. По этому поводу разгорались споры, Андреа убеждал их, что вся эта механика — ракеты, радары, в том числе военные, — не может совершенствоваться без вычислительных машин. Его вразумляли осторожно, как больного, зараженного вирусом буржуазной идеологии. Он хотел получить от них возражения по существу — и не мог. Не стоит отвлекаться, лучше, чтобы он обеспечил их нужной информацией, они сами знают, что перспективней. У Эн спрашивали про ее мужа Роберта. Узнав, что он занимается астрофизикой, ее оставили в покое. Самые толковые из них, как убеждался Андреа, не были в курсе новых направлений электроники, пренебрегали компьютерами как идеологически сомнительными машинами. При чем тут идеология, он не понимал, с ними

порой трудно было находить общий язык, настолько они верили в превосходство социалистической науки. Но их уверенность должна была на чем-то зиждиться! Однако сколько Андреа ни допытывался, так и не смог уяснить разницу между капиталистической наукой и социалистической.

Ему прислали философа, специалиста по “социальной сущности науки”.

Перед этой встречей заехал мистер Винтер, он плохо выглядел, сказал, что у него неприятности и если Андреа будут спрашивать, пусть не стесняется и расскажет, как Винтер не хотел брать с собою Эн. Уходя Винтер посоветовал пригласить кого-нибудь третьего, чтобы непременно присутствовал при разговоре с философом. У Андреа знакомых не было. Винтер пообещал прислать своего шурина.

Шурин был глуховат, пользовался слуховым аппаратом, знал испанский, поскольку воевал в интербригаде против Франко, заикался, но если б не маленький рост, он считался бы красавцем, к тому же был смешлив и сразу располагал к себе. Философ же оказался весьма солидным, тучным, с огромной седой шевелюрой, похожим на Марка Твена. Он привез в подарок несколько своих книг, среди них тяжелый том “Буржуазная техника на службе американского империализма”. На всех книгах он сделал милые дарственные надписи и каллиграфически затейливо вывел — “Казимир Вонсовский”.

Они проговорили целый вечер. Шурин выставил на стол коробку со слуховым аппаратом, что несколько смутило философа, который, как он выразился, отнюдь не имел целью навязать свои взгляды, он стремился лишь ознакомить пана Картоса с мировоззрением той среды, в которой ему предстоит обитать, и был бы счастлив принести в этом смысле пользу.

Философ знал американскую историю, американскую статистику куда лучше Андреа. Отдавал должное и философам, отнюдь не марксистам, таким, как Чарльз Пирс и Ханна Аренд, о которых Андреа не имел понятия. Речь его была пересыпана грубыми американскими словечками и чисто польской галантностью. Он не упрощал проблем, закон относительности действует при всех режимах примерно одинаково (смешок), подход же к этому закону различен, ибо (указательный палец поднят) все зависит от того, в чьих руках наука и техника, кому они служат. Немецкие физики были в отчаянии: их открытия использовали для создания американской атомной бомбы.

— ...У вас в Штатах наука служит капиталу, она не свободна, а свобода для науки — что воздух для живого существа. У нас впервые наука поставлена на службу интересам трудящихся. У вас наука противостоит рабочему классу...

— Почему же? — заинтересовался Андреа.

— Ее достижения использует для обогащения крупный капитал. Возьмите фонды. Допустим, Рокфеллеровский. Казалось бы, помогает ученым, дает стипендии...

— Я знаю.

— Тем более. Тогда известно, как они распределяют деньги. Дают кому хотят. А кто распределяет? Знакомые, приятели Рокфеллеров, сами капиталисты. Ни одного рабочего нет в правлении. Верно я говорю?

— А для чего там рабочие?

— Но кто же будет защищать интересы трудящихся?

— Видите ли, я учился на деньги Рокфеллеровского фонда. Мы были слишком бедны.

Шурин хмыкнул, пан Вонсовский обиженно погладил свой подбородок.

— Им приходится подкупать часть трудящихся, заигрывать.

И он рассказал, что фонды, подобные Рокфеллеровскому, учреждают, чтобы освободиться от налогов, переложить их на массы бедных налогоплательщиков. Привел убедительные цифры. Андреа не смог ничего возразить.

— Вы знаете про новый закон Трумэна?

Это был закон о милитаризации науки. О ее фашизации. О том, что все ученые должны дать подписку, что не состоят в организациях, проповедующих свержение правительства. От ученых требуют бороться с врагами правительства. То есть доносить, следить!

Выкладывая факты, он возбуждался. Бледное лицо его порозовело, он сжимал кулаки. Можно было подумать, что американская наука была его личным врагом.

— Профессор Ральф Спинсер, слышали?.. Ну как же, химик, из Орегонского университета, в феврале сорок девятого года его уволили. А знаете за что? За то, что он призывал коллег познакомиться с докладом академика Лысенко, поддерживал его! Вот вам и свобода науки.

Он приводил факт за фактом: военные заказы, преследования передовых ученых, ничтожные средства на чистую науку, милитаризация. Его гнев был неподделен. Образ американской науки, да и техники, нарисованный им, выглядел чудовищно.

— Да что я вам рассказываю, вы, вы сами яркая иллюстрация. О господи, если бы я мог в своих лекциях сослаться на вас! — вырвалось у него. — С другой стороны, социализм впервые поставил науку на службу трудящимся, она стала служить не фирмам, а всему обществу, ее преимущество в плановости. В США науку планировать не умеют. Не так ли? — Пан Вонсовский требовал подтверждения, и Андреа соглашался. Преимущества плановой системы радовали его.

Главным же достоянием ученых лагеря социализма, по словам Казимира

Вонсовского, было марксистско-ленинское учение. Изучал ли пан Картош ленинскую работу “О значении воинствующего материализма”? Ай-яй-яй, как же так? А другие работы Ленина? Без них невозможно сегодня раскрыть всеобщую связь явлений природы. Как вы преодолеете механистические представления о раздельности материи и движения, как вы овладеете ядром диалектики?

Андреа выглядел беспомощно. Невежество его было налицо. Шурич как рефери признавал его поражение.

Здесь люди поражали его неколебимостью своих взглядов. У всех, с кем он успел познакомиться, было чувство своего превосходства над американцами. Ему казалось, что это чисто польская кичливость, Вонсовский же сумел обосновать это как бы мировоззренчески, как преимущество социалистического общества. Такое пренебрежение к американской науке, технике, к американским порядкам было Андреа неприятно. Рокфеллер — капиталист, можно сказать, символ американского империализма, но Андреа не мог забыть, как старик похлопал его по плечу, и чувство благодарности к этому человеку продолжало жить в нем.

Не в силах удержаться, Андреа вдруг спросил — есть ли в Польше и в России какие-нибудь другие философские школы кроме марксистских?

— Что вы имеете в виду, какие школы? — обрадовался Вонсовский.

Философии Андреа почти не знал, никогда ею не интересовался, не видя от нее практической пользы. С трудом припоминая университетские годы, сказал:

— Да мало ли... Экзистенциализм, позитивизм... неореализм.

Он старался произнести эти непривычные слова поуверенней, Вонсовский обрадовался и категорически, четко заклеил эти школы и направления как буржуазные. Значит, их здесь не изучают, удивился Андреа, тогда марксизму трудно развиваться, ведь для развития требуется борьба... Но тут шурич наступил ему на ногу под столом и тотчас со смехом предложил Андреа признать полную победу марксизма и пана Вонсовского. Начавшаяся было схватка не состоялась. Шурич рассказал несколько анекдотов, все закончилось смехом и выпивкой. После ухода философа шурич попытался объяснить Андреа, что для таких, как Казимир Вонсовский, величайшее счастье — обрести идеологического противника, обличать, наклеивать ярлыки, объявлять борьбу и, естественно, руководить этой борьбой. Страхи шурича позабавили Андреа. Более безобидный, скучный разговор, чем с этим философом, трудно было представить.

Назавтра Андреа отправился в городскую библиотеку, зашел в читальный зал, взял Ленина на английском языке, но вскоре ему стало скучно от потока брани и презрения в адрес противников.

Среди противников был и Эрнст Мах — физик, работы которого изучали в университете. Уровень критики показался ему некорректным, а с точки зрения физики сомнительным. Уже через два часа он отодвинул в сторону

Ленина и погрузился в свежие номера американских научных журналов.

Следующим визитером был многозвездный генерал — если судить по свите, еще в больших чинах. Генералов в Польше было много. Генерал Кульчинский был моложав, благоухал одеколоном. В передней он скинул шинель не оглядываясь, зная, что ее подхватят. Обошел квартиру, похвалил мебель, паркет, красавицу жену, склонил напомаженную голову, целуя пани ручку. Двигался он упруго, поигрывая хорошо надутыми мускулами. Был он выше Андреа чуть ли не на голову и оглядел его с некоторым разочарованием. Чувствовалось, что Андреа ему не понравился. Трудно было сказать — почему. Человек входит в комнату, где сидят неизвестные ему люди, знакомится, и сразу возникают симпатии и антипатии. Кто-то ему нравится, кто-то нет. Между людьми существует “что-то”, оно либо притягивает их, либо отталкивает. Как большинство ученых, Андреа отвергал всякую телепатию, телекинез и прочие нематериальные силы. А между тем генерал у него тоже вызвал неприязнь неизвестно почему, чисто интуитивную, такую же, как и он — у генерала. И чем дальше, тем неприятнее казался генералу этот чернявый физик, невесть что строивший из себя.

— Неплохо устроились, — говорил генерал. — По нынешним временам шикарно. Смотрите, как народ в Варшаве живет. В бараках, в лачугах. Чего ж вы жалуетесь, чего вам не хватает? Мы вам все дали.

— Мы не жалуемся. Я прошу о работе, — старательно выговаривал Андреа по-польски.

— Человек дела, — сыронизировал генерал. — Истинный янки.

Он попросил у пани разрешения закурить, присел к столу. Не торопясь стал набивать трубку и вдруг, подняв голову, недоуменно уставился на Андреа.

— Ты кто такой?

— То есть?

— Я спрашиваю: кто ты такой? — угрожающе повторил генерал.

Андреа вспомнил нечто подобное у Винтера, очевидно, излюбленный прием этого ведомства, и улыбнулся, соглашаясь принять участие в игре.

— Андреа Костас.

— Откуда это известно?

— Я думаю, что Винтер вам доложил.

— Винтер... А где он?

И вся свита, человек пять, уставилась на Андреа.

— Не знаю. Он мне не докладывает.

— Шутишь. А тут дело серьезное.

Генерал сунул трубку в рот, и тотчас ему протянули зажигалку. Он щелкнул, раскурил, затянулся.

— Найдется, — сказал Андреа. — Он не из тех, кто пропадает.

— Тебе лучше знать. — Генерал усмехнулся, и на всех лицах появилась та же усмешка. — Сбежал? Похитили? Как полагаешь?

Андреа пожал плечами.

— А вы как думаете?

— Мм-да, — протянул генерал на эту бестактность. — Я думаю, что придется тебя как следует расспросить.

— А я думаю, что нас это не касается.

— Почему же? Надо кое-что выяснять. Кое-кто предполагает, что ЦРУ помогло подсунуть нам двойника.

— Возможно, — подумав, согласился Андреа. — Почему же это не выяснили, прежде чем нас вывозить?

— Лучше выяснять дома, — произнес генерал так, что все поняли, что он имел в виду.

Андреа походил по комнате, глядя себе под ноги.

— Вы знаете, товарищ генерал, это ваши заботы, меня это все не касается. Я по-прежнему настаиваю на том, чтобы приступить к работе. Не хотите, боитесь — не надо. Тогда позвольте мне обратиться в Москву.

— В Москве тебя ждут не дождутся. Много ты о себе воображаешь.

— Это верно, — сказал Андреа. — Каждый думает, что он стоит больше, чем ему предлагают.

Генерал откинулся на спинку стула, посмеялся. Прочитав отчет, составленный Винтером, он понял, что с американцем надо справляться не логикой, а способами иррациональными. Это была интересная задача, поскольку генерал считал себя хорошим психологом. Положение осложнялось тем, что шифровка из Москвы за подписями Абакумова и Еремина охраняла этого америкашку, так что стандартные приемы не годились.

— Садись, — приказал генерал. — Не мотайся. Запомни, мы ничего не боимся. У нас враги народа работают в спецлабораториях. Работают и делают то, что надо, работы хватит всем. Но не для тебя. Тебе работать не

придется!

Генерал азартно оглядел всех стоящих вокруг него, Эн, застывшую в углу на краю кушетки. Он стиснул трубку зубами, положил руки на стол, словно за карточным столом ведя игру, которую любил.

— Ты утверждаешь, что ты Андреа Костас? Вряд ли это возможно. Костаса нет. Кончился. Есть Картос. Следовательно, тебя больше не будет. Так надо... — Он поиграл паузой. — Во имя интересов нашего дела... Вместо него будет другой парень. Поскромнее, надеюсь. У него и родители будут другие, происхождение другое. Ты и сдашь ему дела. Сам же исчезнешь. — Он любовался растерянностью Андреа, пустил дым колечками. — Не будет тебя отныне...

Тут уж, добравшись, он погарцевал в свое удовольствие. Поковырял слабое место, самое уязвимое, самое болезненное. Знал, что для Костаса дороже всего была его научная репутация. Лишиться своего имени, стать вместо Андреа Костаса господином Игреком значило остаться без печатных работ, никому не ведомым инженером, голым человеком.

Этот сукин сын, надушенный индюк, на самом деле не имел представления о том, как статьи Костаса цитировали, какая у имени его была известность. И вдруг ничего этого не станет? В тридцать лет он никто? Что он делал все годы, неизвестно, бездарный служака — не иначе. Он должен начинать с нуля, ни прошлого, ни заслуг; кто ж его возьмет, на какую должность, если нет рекомендации?

— Рекомендации нашей вполне достаточно. Для любой должности, — с удовольствием заверил его генерал. — Конечно, кроме американских фирм, вы уж извините.

Свита его тотчас засмеялась.

— Мне не нужны ваши рекомендации, — стиснув зубы, процедил Андреа. — Кто вы такие, чтобы давать мне рекомендации!

— Напрасно вы так обращаетесь со своими спасителями, одни мы можем засвидетельствовать, что вы не самозванец. Кроме нас никто этого не знает. Андреа Костаса нет. Андреа Костас, бедняга, погиб, мир его праху. Американские агенты все же добрались до него и уколошили. Устраивает вас такой финал? Выбирайте сами, где произошла ваша гибель. Счастливая возможность. Не каждому удастся подобрать себе место смерти по вкусу. Хотите Ниццу? Смерть на Лазурном берегу? По-моему, красиво. И местечко очаровательное.

Андреа выругался. Вздохнув, генерал обратился к Эн:

— Ваш супруг лишен чувства юмора. Тяжело вам с ним.

— Я не даю согласия, — произнес Андреа, словно бы делая официальное заявление.

— Дадите. Иначе допуска к работе не получите. Тут даже мы бессильны. Для нас ведь тоже есть правила.

— Нет, я не согласен.

— Как вам угодно. — Генерал благодушно попыхивал трубкой. Теперь, когда он добился своего, он нежился, поигрывая словно кот с мышью. — Бедняга Винтер переоценил вас. Он сообщал, что вы человек смелый. А вы боитесь начать жизнь сначала. Без прошлого капитала вы, значит, не в состоянии? Вы что же — выдохлись? Это, конечно, меняет дело. Я-то думал, вы в расцвете сил. Не знаю, как ваша супруга считает. — И он, захохотав, повернулся всем корпусом к Эн.

— Послушайте, пан генерал, — спокойно сказала она, — вы должны понять Андреа. Представьте, что вам пришлось бы сейчас начинать с сержанта.

— А вам идет, когда вы краснеете. Дайте мне возраст сержанта — и берите мое звание. — Он с удовольствием переключился на нее. — Вам, кстати, тоже придется сменить данные.

— Женщине это легко, — она улыбалась ему как ни в чем не бывало. — Я уже меняла фамилию, а на этот раз я готова...

Их прервал Андреа:

— Вы меня похороните, а Винтер воскресит.

— Каким образом? — Генерал мгновенно насторожился.

— Если он сбежал, то сообщит.

— Не беспокойтесь. Он ничего не сообщит. Мы за это отвечаем.

Испытующе генерал оглядел всех в комнате, поднялся, демонстрируя перед Эн свою бравость, рост и ничтожность ее сникшего грека, поверженного по всем статьям.

— Мы позаботимся напечатать ваш некролог в какой-нибудь газете, “Дейли уоркер”, к примеру. — Ему было весело то отпускать, то натягивать поводок. — А хотите, напишите сами? А что? Вы же всегда высоко ценили этого парня. Можете не стесняться, воздайте ему должное.

Его свита была в восторге, гордая за своего шефа, и он победно удалился, препоручив помощнику детали.

У входа в библиотеку Андреа остановила незнакомая женщина, закутанная в синий вязаный платок. Ничего не говоря, она сделала знак головой, пошла вперед. Свернув за угол, подождала его. Неизвестно почему он последовал за ней. На ее некрасивом длинном лице горели огромные молящие глаза. Она взяла Андреа под руку, заговорила горячечно. Она жена Винтера. На самом деле он не Винтер, он Станислав Славек, пусть все знают, что уже месяц как он арестован. Пришли ночью, сделали обыск, взяли его, и с тех

пор ни слуху ни духу. У них двое детей, один грудной, ничего добиться она не может — кто его дело ведет, за что взяли: при обыске ничего не нашли.

Удивительно, что Андреа понимал ее польскую скороговорку, понимал и не понимал. Новость ошеломила его. Как так взяли? Винтер же исчез, сбежал; встретив ее взгляд, он поправился — то есть это он, Андреа, считал, что Винтер сбежал от них, не желает больше с ними видеться... К кому она только не ходила, все боится, характер у мужа, конечно, дрянной, язык вредный, но ведь Костас мог убедиться, что он патриот и не бросает друзей в беде, Костас единственный, с кем посчитаются, он должен помочь Стасу, он имеет право просить за того, кто их спас. Она готова была тут же на улице встать перед ним на колени, пришлось силой удержать ее.

То, что Винтер не сбежал, а арестован, не укладывалось в голове. Зачем же ему сказали, что сбежал? Рассчитывали, что он что-то сообщит в подтверждение?.. В хитросплетении продуманных ловушек не повредит ли его вмешательство? Что он может? — он ведь никого тут не знает. Генерала Кульчинского? Генерала он знает, но если он обратится к генералу, выйдет только хуже, с генералом у него не сложилось... От кого он, Костас, узнал про арест?.. Пусть от нее, она уже ничего не боится.

Вечером, рассказывая об этом Эн, он признался, что искал отговорки, не хотел вмешиваться в местные дела, если Винтера арестовали, значит, есть основания. Эн повторяла одно и то же: он рисковал жизнью ради нас. Рисковать жизнью для Андреа было куда легче, чем отправиться к генералу. В поведении Винтера во время их путешествия теперь многое становилось подозрительным. Но Эн была непреклонна.

Генерал принял его через неделю. К тому времени Андреа уже официально стал Андреем Георгиевичем Картосом. Он приехал с женой из Греции, сбежав от власти черных полковников. У него была биография молодого университетского ученого в Салониках, несколько фото на фоне университета, вместе с Эн в Афинах у памятника Байрону. Эн стала Анной, чтобы Андреа мог сохранить уменьшительное Эн. По происхождению американка. В Испании познакомились, там и поженились. Андреа исправно, как и все, что он делал, выучил подробности: про отца — банковского юриста, и про мать — учительницу музыки. Братья, сестры — всех он сделал преуспевающими, счастливыми.

Принял его не генерал, а незнакомый, неизвестного звания человек в полувоенном зеленоватом френче, зеленоватых брюках, цвета как бы танковой брони, ступал он тяжело, голос у него был лязгающий, и выглядел он — как часть танка. Кажется, тот генерал пошел на повышение либо куда-то отбыл, никто ничего не разъяснял, судя по всему, здесь было принято, что люди могут появляться неведомо откуда и исчезать неведомо куда.

Начальник этот говорил не от себя, а как бы сообщал, наподобие дельфийского оракула, про опытных следователей, которые не допустят ошибки в отношении Винтера. Спросил, откуда известно про арест. Андреа был готов к этому вопросу: он не поверил в бегство Винтера, поехал к нему выяснять, соседи сказали, что произошло.

— Та-ак, мы вас проверяем, а вы нас, — произнес оракул. — Не надо вам заниматься такой работой. Больше доверяйте органам. Я мало знаю Винтера. Вы тоже мало знаете Винтера. Мы с вами не можем за него ручаться. Я смотрел ваше дело. Вы никогда в Америке не были. Следуйте своей биографии в любых ситуациях. Не ошибетесь.

Сквозь щели брони проглядывало что-то испуганное, желающее отделаться от посетителя.

— Раз вы настаиваете, напишите нам. Вы имеете право. Тогда вас вызовут на допрос, и вы сообщите. А так... вы по делу Винтера не проходите.

Это прозвучало предостерегающе.

Адъютант, провожая его к выходу, сказал, что вечером к нему придет товарищ из Москвы.

Товарища звали мудрено — Владислав Вячеславович. Выговорить это Андреа не мог, тогда приезжий предложил звать его Влад.

Совершенно лысый, отчего лицо его казалось голым, блестящим, как головка сыра, тонкие ножки-ручки, круглый животик. У него были плохие зубы, смешное английское произношение. Живой, подвижный, он совсем не походил на сорокалетнего доктора наук, начальника лаборатории. В Варшаве ему дали переводчика. Технических терминов переводчик не знал, путал “генератор” и “генерацию”. Влад попросил убрать его. Начальство отказало, пусть сидит. Влад позвонил в Москву. Переводчика убрали. У Влада был тоненький писклявый голос, когда он ругался, это вызывало улыбку. Ругался он мастерски. О прошлом Андреа и Эн он ничего не знал и не расспрашивал их, ему поручено было составить заключение о товарище Картосе как о специалисте. На третий день он перестал спрашивать, выяснять, они принялись обсуждать задачки и новые данные по быстродействующим схемам, где сам Влад путался, и они наперегонки помогали друг другу. Умственные возможности Картоса приводили Влада в восторг. Он вскакивал, носился по комнате, приседал, хлопал себя по животику, хватал Эн за руки и объяснял ей, что суть настоящего ума не в том, чтобы что-либо увидеть первым, а в том, чтобы установить связь между тем, что известно, и тем, что неизвестно. О Москве, о политике, о советских новостях они не говорили. На женские расспросы Эн, что носят в Москве, куда ходят, Влад бурчал: “Понятия не имею”; похоже, что это была правда; в Варшаве его тоже не интересовали ни город, ни окрестности, ни музыка. Отдыхал он, играя в “картишки”, кроме того отсыпался. По его словам, в Москве он спал не больше пяти часов в сутки. Он советовал Андреа, когда его вызовут в Москву, проситься в авиавоенку: больше денег и возможностей делать стоящие работы. Там хорошее оборудование, хорошие математики, хорошие теоретики.

Он спустился к ним как посланник райской обители, которая ждала их. У посланника были совершенно немислимые ударения, так что Эн не могла удержаться от смеха. Он добродушно оправдывался; они были первые живые иностранцы, до них он ни с кем не общался, английский был для него языком статей и детективных романов. И Эн и Андрей Георгиевич

были для него диковиной, иногда он не мог скрыть своего удивления, что они смеются, напевают, что Эн стирает белье.

Теплым майским воскресеньем втроем они отправились в Лазенки — погулять. Распускались тополя, неистово пели, носились птицы. Никогда в Штатах не чувствовалось такой нежности приходящей весны. Зелень была крохотной, липкой, пахучей. Сама земля набухла соками. Сладострастие жизни скрытно бушевало вокруг. Андреа и Влад увлеченно обсуждали, как можно было бы усилить и услышать токи жизни, бегущие сейчас в стволах, стеблях. Звуки, которыми полна природа, не слышимые человеческим ухом, они же могут зазвучать!.. Влад рассказал, что сейчас идет борьба за создание биофизического института, может, скоро они пробьют решение. “Борются”, “боротся” — мелькало в его речи не впервые. Андреа неясно представлял себе, как это бороться, с кем, что это означает.

— Андрей Георгиевич, дорогой вы мой, борьба — необходимая часть жизни ученого. Без нее невозможно. Боротся надо и внутри лаборатории: с бездельниками, бездарями...

Перед Андреа раскрывалась неизвестная ему боевая жизнь — сражения, схватки. Совсем не тот лабораторный покой, к которому он привык.

— Я тоже пытался... не знаю, как быть дальше... — И Андреа рассказал про свою попытку помочь Винтеру. Не может ли Влад вмешаться?..

Влад изменился в лице.

— Этими делами я не занимаюсь, — холодно сообщил он. — Напрасно вы мне это рассказали. Я вынужден буду сообщить в отчете. Вы уж извините меня, и вы, Эн, — таков порядок. Считайте меня кем угодно... — и он стукнул себя кулаком в грудь, — но это мой долг. Поэтому лучше со мной не надо все эти материи... Я вас предупреждаю. — Тонкий голосок его задрожал, голая голова влажно заблестела, он чуть не плакал.

Эн взяла его руку, стала успокаивать.

Андреа вернулся было к разговору о звуках, но ничего не получилось.

Вечером Андреа сказал Эн:

— Русская душа — что-то особенное, видишь — предупредил, и страдает, и стыдится. А ведь всего лишь честно исполняет обещанное.

XIV

Они приехали в Москву в конце августа. Их поселили в гостинице “Москва”, большой, шумной, переполненной депутатами, иностранцами; на каждом этаже круглые сутки сидели дежурные; работало множество громкоголосых горничных; официантки везли в номера громыхающие коляски с завтраками, обедами, бутылками водки, боржома, шампанского. Здесь много пили, ели, гуляли. Ходили в тюбетейках, женщины — в ярких

восточных платьях, все в орденах, медалях, важные, гордые, с папками.

Окна их номера, задернутые толстыми бархатными занавесями, выходили на шумный проспект, день и ночь заполненный ревом машин, гудками. Снова у них не было никаких обязанностей. Кроме акклиматизации, как объяснил прикрепленный к ним лейтенант.

Они накинулись на Москву с жадностью. Они лакомились Москвой, они заходили в кафе “Националь”, наискосок от их гостиницы, там можно было встретить известных поэтов, художников, актеров. Андреа носил с собой словарь. До поздней ночи он сидел за учебником русского языка. Они выстояли огромную очередь в Мавзолей Ленина, потом шли вдоль кремлевской стены, читая доски с золотыми именами великих деятелей революции. Все здесь вызывало восторг и благоговение. Огромный этот город был бедным, но чистым, в нем не было нищих, люди спокойно стояли в многочасовых очередях. Каким-то образом в них узнавали иностранцев, показывали дорогу, устраивали места в переполненных кинотеатрах. К иностранцам вообще относились с подчеркнутым вниманием, какого они не встречали ни в одной стране. Москва действительно вела себя как столица мира. Повсюду висели портреты Сталина, их было даже больше, чем портретов Ленина. Они воспринимали это как свидетельство любви к вождю. Многие черты народной жизни выглядели непонятно, например, Эн заметила, что все школьники ходят в красных галстуках, все были пионерами, никаких других организаций у детей не было. В газетных киосках продавалось всего несколько газет — четыре странички, без всякой рекламы. Вообще город жил без рекламы. Вместо рекламы лозунги, плакаты, доски почета, фотографии ударников, экраны “соцсоревнования”; “соцобязательства”, “соцдоговора” — этих слов не было в словаре. Не было и частных магазинов. Все государственное. На Центральном рынке шла вялая торговля цветами, семечками, вязаными шапочками. Пленные немцы еще кое-где ремонтировали дороги, строили дома на Хорошевском шоссе.

Раз в неделю лейтенант возил за город. В Загорск, в Лавру, — там они увидели монахов, священников, никак не думали, что сохранилось такое в социалистическом государстве.

Они получили обыкновенные советские паспорта, неказистые темно-зеленые книжечки, какие выдавались в Союзе каждому гражданину. Рекомендовалось носить паспорт с собой. В паспортах была обозначена национальность. У Андреа — грек, у Эн — американка. Здесь, в Союзе, в паспортах, оказывается, имелась графа — национальность. Ей придавали большое значение.

В воскресенье лейтенант привез Влада. Они расцеловались как старые друзья. Лейтенант уехал, Влад повел их в Третьяковскую галерею, в которой сам не бывал с детства. На обратном пути они зашли в Кремль. Там было тихо, чисто, торжественно. Цвела сирень. Сияли золотом куполов белокаменные соборы. Андреа и Эн волновало близкое присутствие Сталина. Где-то рядом, в одном из этих желтых зданий, его кабинет. И в любую минуту он сам мог выйти из подъезда.

При выходе опять тщательно сличали пропуск и паспорта. У Влада был

такой же темно-зеленый паспорт, как и у них, там тоже имелась графа “национальность”, и Андреа спросил его: а собственно, что означает русский?

Влад беспечно ответил, что русские — это происхождение. Отец у него русский, мать наполовину русская, наполовину татарка. Ну а почему отец русский, допытывался Андреа, русские — это язык? религия? место рождения? Вот, например, у Эн предки — датчане, испанцы. Вероисповедание — лютеранка. Родилась в Штатах. Гражданство американское. Теперь советское. Язык английский и испанский. Какая у нее национальность? Эн заметила, что у нее ни разу не возникало надобности в этом понятии. Она даже не понимала, как практически определяется национальность. Ее записали американкой, но, спрашивается, есть ли такая национальность? И что это дает?

Влад был озадачен. Раньше он не задумывался над такими, казалось, очевидными вещами, хотя именно очевидное и таит в себе самые опасные ловушки.

Обедали в Доме театрального общества, куда Влад был вхож, его там знали и чтили как знатока русской кухни, гурмана. О будущей работе Влад сказал вскользь: “Еще немного потерпите, куда вы торопитесь, лучше, чем сейчас, не будет, поверьте мне. Сейчас нам принесут котлеты по-строгановски, гурьевскую кашу, и вы поймете, что ничего другого человеку не надо”.

На первых порах, по словам Влада, Андреа должен получить небольшую группу. Собственно, сейчас дело за ним. Но он сказал Владу, что ему надо еще какое-то время, что его русский слишком плох. Занимался он упорно, но в какой-то момент признался себе, что оттягивает время. Никак не мог подготовить себя к новой роли. Явится он, некий Андрей Георгиевич из Афин, — смешно. Чего вы нас поучаете, Андрей Георгиевич, сами-то вы что сделали? — спросит его какой-нибудь наглец выпускник, коротко стриженный, в солдатской гимнастерке; совершенно явственно он представлял себе его румяную физиономию, а за плечами юнца — пожилого сотрудника, лысого, понурого, с язвительно поджатыми губами. От него будут ждать немедленных результатов, откровений. Как зрители в цирке: чуть оступился — свист, насмешки, и все, ты погиб. Это не ошибка, это разоблачение!

С каждым днем эта страна, Москва, казалась им все прекрасней и непонятней, как и этот русский язык, перед которым Андреа, несмотря на свои способности, то и дело становился в тупик. Он, например, чуть ли не день потратил, чтобы понять — “пристал как банный лист”. Баня — он не знал, что это такое, зачем в бане веник, что значит париться... Дотошность мешала ему, но он ничего не мог с собою поделать, это было в его характере.

2 июня 1951 года вечером они находились у себя в номере. Дневная жара еще не выдохлась, Андреа в трусах расхаживал, декламируя Пушкина. Стихи, да еще рифмованные, помогали ему изучать язык и правильно расставлять ударения. Эн сидела тоже в рубашечке, шила, укорачивала юбку. В дверь постучали. Андреа машинально сказал: “Да”. На пороге

показался мужчина в мешковатом летнем костюме, в роговых очках, сутулый, длиннорукий. Эн вскрикнула, закрываясь юбкой, но крик ее оборвался. Этот человек был знаком, неправдоподобно знаком, она и Андреа не поверили своим глазам. Не привидение ли? Привидение тоже остолбенело, не в силах двинуться дальше. Мистификация? Мираж? Они не знали что и думать.

— Это ты? — со страхом спросил Андреа.

— Не знаю, — неуверенно ответил Джо, и они двинулись навстречу друг другу.

Они даже не посмели обняться, они сперва осторожно дотронулись до рукава, до рук.

Их никто не предупредил. Джо привезли в Москву из Праги, поселили в соседнем “Гранд отеле” и сказали: зайдите вечером в такой-то номер, вас хотят видеть.

Джо уставился на Эн — застань он здесь президента Трумэна, штопающего свои носки, он был бы менее удивлен.

Понадобилось двое суток, чтобы они пришли в себя. Двое суток они не могли наговориться.

Появление Джо было не только обретением друга. Появился единомышленник. Появился человек, который знал, кто такой на самом деле этот Андрей Георгиевич, знал его работы, его возможности. О, это создавало совсем другое самочувствие. Андреа преобразился, он обрел себя, страхи исчезли. Отныне они вдвоем. Чтобы работать вместе.

Джо рассказал о своих планах. Он был в восторге от Москвы. Когда он спустился по трапу самолета на плиты Внуковского аэропорта и увидел над аэровокзалом кумачовый лозунг: “Социализм — все для человека, все ради человека! Да здравствует партия Ленина — Сталина!” — он заплакал от счастья. Запретные слова висели над входом в страну справедливости, написанные огромными буквами: “социализм”, “партия Ленина”...

Наконец он попал в мир своей мечты. Прага, Чехословакия — это не то, здесь же коммунисты у власти уже три с половиной десятилетия, люди уже избавились от капиталистических пережитков, это народ, который спас Европу от фашизма, отсюда начинается новая жизнь.

Когда его вызвали и сказали, что надо лететь в Москву, он ни о чем не спрашивал. Есть лететь в Москву! Ему нравилось чувствовать себя солдатом революции. Кто-то распорядился им, его судьбой, он — частица огромного замысла, двухтысячелетней мечты человечества о справедливом строе. Его дело — исполнять свою роль. Что она означала в общем механизме, он не всегда мог осознать, да и зачем? Лучше исправно служить, пусть винтиком, но лучше винтиком, чем существовать без цели, без великой мечты. Солдат ведь тоже винтик. Где-то там, в штабе, передвинули

флажки, и в результате они — трое — очутились в Москве.

С утра Джо и Андреа отправлялись в Ленинскую библиотеку — знакомиться с периодикой. Американские, английские, французские журналы, не читанные за год, монографии, рефераты. Каждый смотрел свое, а потом устраивали друг другу нечто вроде обзора. Вокруг кибернетики бушевали страсти. Ее обвиняли в отсутствии научного подхода, в том, что она делает людей жалкими. Французы называли кибернетику научной фантастикой. Ученые обижались: мол, новая — шумная, невоспитанная — наука хочет захватить биологию, социологию, математику, что для нее это всего лишь равнозначные системы! Джо увлекали эти схватки, Андреа же считал, что их дело заниматься не лозунгами, а техническими проблемами.

Количество технических разработок в Европе и Америке нарастало лавиной. Намеки, ссылки, знакомые фамилии подсказывали им, что военные продвигались особенно успешно и быстро.

В Советском же Союзе, по-видимому, в этом плане мало что делалось, кибернетикой пренебрегали, к ней относились подозрительно. Джо считал, что их задача — развернуть работы, и не просто в маленьких лабораториях, нет, надо задаться высшей целью: показать фантастические возможности компьютеров, создать машины, каких еще нет нигде. Организовать производство таких машин. Превратить эту страну в компьютерную державу!

Мысль его кипела, холодная трезвость Андреа только подстегивала воображение. Он был убежден, что будущее принадлежит кибернетике. Могущество каждой страны будут определять не пушки, а компьютеры.

— Мы соединим американскую деловитость с русским размахом, как мечтал Ленин! Плановая советская экономика даст нам возможности, каких нет ни у одной капиталистической фирмы!

Его энтузиазм вскоре увлек и Андреа.

— Судьба наша удивительна! — доказывал Джо. — Нам невероятно повезло! Мы должны отблагодарить эту страну, она спасла нас!

Восклицательные знаки его высились, как шпиль над Москвой.

Решено было посоветоваться с Владом. В результате они сочинили докладную записку, как назвал ее Влад, в ЦК партии.

Записка вызвала споры. Несколько недель она путешествовала по этажам огромного здания ЦК из кабинета в кабинет, обрастая справками, заключениями консультантов, экспертов. Что-то в ней было такое, что не позволяло ее сразу отринуть. Приложенные справки рекомендовали авторов как крупных специалистов, “связанных с американским военно-промышленным комплексом”. Слово “американским” разные читающие подчеркивали — каждый по-своему. Несмотря на успехи наших атомщиков, многие здесь, в ЦК, втайне чтит американскую технику и понимали ее превосходство. Хорошо, что Влад отказался подписать эту бумагу. Его

подпись испортила бы впечатление. Свой специалист, какой бы он ни был, не котировался. Помимо американского происхождения письмо смущало опытных партийных читчиков своей угрожающей уверенностью: не возьметесь за ум — останетесь в дураках, и тогда вам все припомнят, начнут искать Тяпкина-Ляпкина. На то же намекал и Влад, будучи вхож в некоторые из кабинетов.

Званий у Влада, кроме докторской степени, не было. Единственное, что он каким-то образом сумел себе заработать, была репутация еретика. В этом строжайшем учреждении его терпели и даже привечали как еретика — как специю, острую приправу к пресному потоку просителей и хлопотунов. Кроме того, этот головастик с тонкими, нежными чертами лица, с огромным лбом, с классической внешностью ученого мог мастерски ругаться, тонким писклявым голоском он запускал искуснейший мат, беззлобный орнамент, который вызывал восторг и зависть начальствующих ценителей.

В верхние кабинеты Влад направлял академиков, которым не могли отказать в приеме и которые пытались как-то отстоять “компьютерную мечту”. Хотя бы частично, помалу, по полешку, “полешко к полешку, и дровишки соберем”. Их выслушивали внимательно, иногда сочувственно, особенно военных. Военных подпирала нужда, при новых больших скоростях самолетов требовались другие способы управления, другие зенитные средства. Но и военные были не всесильны. Обычно они командовали, но тут натолкнулись на сопротивление идеологов. Связываться с идеологами опасались даже чекисты, идеологи же к тому времени уже публично предали кибернетику анафеме.

В конце концов партийное начальство зашло в тупик и предложило послушать авторов записки. Разумеется, в узком кругу. Без особых дискуссий, любопытно просто познакомиться с их взглядами несколько пошире, побеседовать в непринужденной обстановке.

До этого отзвуки происходящих схваток доносились до Джо и Андреа исключительно от Влада, а тот был немногословен. Тем более что они не знали ничего толком о шумной кампании, которая разворачивалась против кибернетики.

Как потом признавался Влад, ему было стыдно посвящать иностранцев в эту гнусь. Цековские идеологи, открыв новый фронт, искали отечественных злоумышленников. Уже готовились диссертации: “Кибернетика — оружие холодной войны”, “Философия американской кибернетики как оплот идеализма”. Уже были мобилизованы физиологи, международники, лингвисты и целый ряд философов. Так что записка наших героев появилась как нельзя кстати, вражеская идеология обрела домашний адрес, физиономию, противник проник на нашу территорию, и можно было трубить сигнал тревоги.

Несмотря на обещание, что разговор будет в узком кругу, за длинным столом среди приглашенных оказались философы, профессор психологии и профессор-физиолог. Иностранцев усадили в огромные кожаные кресла. Принесли чай с баранками, печенье, поставили вазочки, полные синих конфет “Мишка на Севере”. По словам Влада, прием шел на высшем

уровне. И разговор начался ласково, с полным пиететом, так что Андреа, то есть Андрей Георгиевич, фамилию которого здесь не объявляли, так же как и фамилию Джо, быстро оттаял, позабыл о наставлениях Влада и развернулся во всем блеске своей логики. Даже Джо слушал его, изумляясь тому, как отточилась мысль Андреа за время их разлуки.

Хозяин кабинета — Гаврилов, — мясистый, добродушный, по-волжски окающий, слушал благожелательно, помогая Андреа найти нужное слово, когда посыпались вопросы. Он, не скрывая, явно был на стороне военных, придерживая остальных. Философ, за ним и профессора дружно прорвались и стали энергично тянуть Андреа от технических задач к общим проблемам. Можно ли какие-то звенья руководства заменить машиной? Не следует ли отсюда, что со временем можно будет заменить и человека машиной?

Влад попробовал напомнить, что они собрались, чтобы обменяться мнениями. Но философ сказал, что, прежде чем меняться, надо составить свое мнение, а составить его можно, определив позицию оппонента. Влад возразил: здесь нет оппонентов, спорить легче, чем беседовать; но философ, крепко, загорелый, по виду тяжелоатлет, как бы отодвинул его в сторону и в упор спросил Андреа о разнице между машиной и человеческим сознанием. Человек ведь социально организованное существо, продукт общественного процесса и так далее.

— А компьютер есть продукт этого социального человека, — отвечал Андреа.

— Нет уж, позвольте, Андрей Георгиевич, вы уходите от ответа. Я человек, у меня есть эмоции, гнев, озарения, юмор, а у вашего компьютера?

— Это хорошо, что у вас есть юмор, — сказал Андреа. — У других людей нет юмора, а они тоже люди. Озарение?..

— Вдохновение, — подсказало начальство.

Тут попросил слова профессор-физиолог Артемьев и круто перешел в наступление. Атмосфера в кабинете стала меняться в тональности — на уровне спокойного разговора удержаться не удалось. Начальство обращалось к Андреа, призывая подтвердить идеологические принципы, и он охотно выражал полное согласие: да, конечно, буржуазия хочет превратить человека в машину, — вспоминал фильм Чарли Чаплина “Новые времена”. Его уступчивость почему-то вызвала ожесточение у профессора психологии, который тут же довольно резко заявил, что не стоит сводить спор к проблеме человек — машина. Нет, фальсификаторы науки идут куда дальше, они выступают, по сути, против науки о высшей нервной деятельности, созданной И. П. Павловым.

Артемьев зачитывал цитаты, выписанные на карточки.

— Они распространяют кибернетику на явления общественной жизни, — сказал он. — Семонтин Ханавя договорился до того, что не за горами время, когда вычислительные машины избавят людей от обязанности мыслить,

будут предсказывать ход истории.

Влад попытался перевести разговор:

— Вопрос для меня в другом: способен ли мозг усовершенствовать себя? Может ли разум создать машины, которые были бы разумнее его? У меня нет ответа. Я не знаю, как с точки зрения марксистской философии.

— Не будем смешивать гносеологию и политику! — осадил его Артемьев. — Мы имеем дело с идеологической диверсией, и это куда важнее. Уважаемый Андрей Георгиевич, согласитесь, что кибернетика сегодня нужна не нам, а капиталистам, это инструмент, чуждый социалистическим принципам. Она не русское начало, если угодно, она антигуманна.

— Разве бывают русские машины? — спросил Картос.

— Бывают, например счеты деревянные, — отозвался Джо.

За Артемьевым выступил профессор-лингвист, эта троица действовала слаженно, создавая привычную для тех лет обстановку проработок. Председатель пытался утихомирить их и не мог. И хотя напрямую никто не возражал — остерегались, — но как-то при этом выходило, что их дело противозаконно, да и сам Андреа подозрителен.

Джо обещал Андреа, что будет молчать, но тут он взорвался, мешая русские слова с английскими, захлебываясь от возмущения. В стенограмме речь его выглядит чудовищной невнятицей, на самом деле его прекрасно понимали, тем более что он тыкал пальцами в своих оппонентов, отчаянно жестикулировал, показывая, что компьютеров боятся чиновники, которые опасаются обнаружить свою некомпетентность. Да, компьютеры бросают вызов заурядности. Если компьютер сможет когда-нибудь заменить человека, то о чем это говорит? Всего лишь о том, что люди не божественные творения. Но разве это не торжество материализма? И Коперник, и Дарвин, и Джордано Бруно тем и занимались, что сводили статус человека к статусу частицы природы. И это правильно, в этом мужество нового общества. Человек силен рационализмом, компьютеры — усилители человеческого преимущества, инструмент социализма. Да, да, социализма! Социализм нуждается в компьютерах. Капитализм не в состоянии их использовать, это анархическое, бесплановое общество!

Вдохновенная эта речь не произвела впечатления на противников, они гнули свое. Как потом выяснил Влад, им не нужны были ни покаяния, ни аргументы, им нужен был упорствующий враждебный элемент. Встревоженное начальство сочло полезным именно на этой точке закончить плодотворное обсуждение, первое в таком роде.

Но Джо невозможно было остановить. Размахивая длинными руками, он носился по кабинету, как большая обезьяна, свирепая и беспомощная. Наверное, он что-то не понимает! Не считаться с мнением советских товарищей он не может. Но как специалисты они должны сказать, они уверены, что индустриализация потребует вычислительной техники. Когда-

нибудь все равно придется вернуться к этой проблеме. Но будет уже поздно. Обсуждение пользы не принесло. Обсуждать можно без конца. Сейчас Советский Союз может оказаться впереди. Все решают не годы, а месяцы. Так же как с атомной бомбой. Если бы товарищ Сталин знал, он бы, конечно, помог, он бы сразу оценил важность задачи.

Воцарилась тишина, какая бывает в цирке при смертельном номере. Все застыли. Не хватало только барабанной дроби. Джо не отдавал себе отчета, что он вступает в опаснейшую зону.

— Если б мы могли попасть к товарищу Сталину! — воскликнул он.

Все заледенело в кабинете. Лица опустели. Люди застыли — кабинет, полный манекенов.

— Почему нет? — настаивал Джо с какой-то отчаянностью. Мысль эта захватила его своей простотой. — Товарищ Сталин примет. Я уверен, что он выслушает нас!..

Председатель поднялся, вслед за ним встали и остальные, монотонным голосом он определил встречу как полезную для выяснения точек зрения, “товарищ Сталин учит нас не уходить от острых вопросов”. Нельзя было понять, что означали его слова — одобрение или порицание.

На обратном пути они втроем — Джо, Андреа и Влад — зашли в ближнюю забегаловку на углу, заполненную запахами горелого масла, пива, табачным дымом. Взяли по бутылке пива, пристроились в стоячке. Влад выпил не отрываясь.

— Ух ты, — сказал он и сладостно выругался, сперва по-русски, потом попробовал перевести по-английски: дескать, все обделались, и он, Влад, тоже чуть не усрался... — Да потому что нельзя, потому что Джо всех потащил на минное поле, да потому что... — Но тут он безнадежно махнул рукой. Что-нибудь объяснить этим пришельцам с другой планеты было невозможно.

Джо, однако, не собирался отказываться от своей идеи, он уверял, что они могут попасть к товарищу Сталину, что Сталин доступнее, чем Трумэн, и они должны испробовать эту возможность. Со Сталиным легче найти общий язык, чем с этими философами. Чем черт не шутит. Поражение — это, конечно, печально, но настоящая неудача — если даже не попытаться.

— Может, все сладилось бы, если бы ты не вылез, — сказал Андреа. — Я тебя просил — сиди, закрыв рот. Перетерпел бы...

— И что?

— А то, что я бы поднял руки, признав их полную победу.

— Это невозможно! Какая же победа, когда они ни в чем не могли тебя опровергнуть? И после этого унижаться? Ни за что!

— Мне нисколько не стыдно. Мне важен успех, а не геройство. Герой тот, кто видит дело какое оно есть. Дело же наше в том, чтобы нам дали работать. На любых условиях.

— Что мне с ними — целоваться? Всему есть предел.

— Время, конечно, работает на нас, — сказал Андреа. — Но мы в это время не работаем. Ну не пойдешь ты на поклон — и что дальше? А куда пойдешь? Где тебя ждут? Меня, например, нигде.

— Не спорьте, дети мои, ибо оба вы строите свой дом на песке, — сказал Влад тоном патриарха, все же он был старше их на пять лет плюс целая советская жизнь. — По-вашему, они хотят вас переубедить. Да ни в коем случае. Им нужен противник стойкий, как Джо, чтобы, дай ему бог здоровья, упорствовал, не отступал от своих вредных взглядов. Если бы вы, Иосиф Борисович, были советским гражданином, цены бы вам не было, вас бы разоблачали год, а то и два, поигрались бы с вами, как наш Лысенко с генетиками.

— Вот видишь! — воскликнул Андреа. — Если мы признаем их правоту, они будут вынуждены от нас отстать.

— Позвольте вас разочаровать, Андрей Георгиевич, ваша капитуляция их не устроит. Вы только обнаружите свою безыдейную сущность. Приспособленцы! Двuruшники! С вашего покаяния ничего не получишь. На хрен им победа! Если они разгромят противника — они больше не нужны.

— А мне нравится эта битва, — сказал Джо. — Поединок — то, чего мне не хватает!

— Правильно. Это вы получите, ибо мы живем в лучшем из миров!

Дрянное московское пиво, черствые бутерброды с килькой, синий дым дешевых папирос, подвыпившие командированные в солдатских ушанках, с тяжелыми портфелями — все было пронизано смутной надеждой, а главное, перевито, украшено сумятицей разговора, который выводил их то к схеме декодирования, то к нервной системе, то к стоимости машины, способной соревноваться с мозгом, а то к проблеме добра... Жар и беспорядок русских бесед были не в характере Андреа и больше всего нравились ему в московской жизни.

Он сцепился с Владом, считая, что искусственный интеллект сам докажет, что он равен мозгу. Влад возражал, что именно компьютер и докажет, что он не равен мозгу. Есть еще душа, и тут Влад, вздыхая, смущаясь, признавался, что он убежден: душа есть у всего живого.

На следующий день Джо из своего номера вопреки всем уговорам стал дозваниваться в ЦК партии, в секретариат товарища Сталина с просьбой о приеме. Там долго не могли его понять, от волнения он все время переходил на английский, наконец разобрались, обещали позвонить. Действительно вскоре позвонили, порекомендовали обратиться в приемную к товарищу Берии. Джо настаивал — только к товарищу Сталину, поскольку проблема

философско-экономическая. Хорошо, сказали ему, “через некоторое время вам сообщат”.

Авантюра, определил Андреа, откажут, будет еще хуже, откажут и запретят — куда тогда податься? Другой работы он для себя не мыслил. Будем ждать, придется ждать, успокаивал их Влад, в России надо уметь ждать, в России все меряют годами. Чего ждать? Пока не утихнет кампания. Может, год, может, два. Джо хватался за голову.

В журнале “Природа” появилась статья профессора Быховского — оказалось, одного из тех, кто был на совещании. Статья называлась “Кибернетика — американская лженаука”. Примерно такая же, но более ругательная, вышла в “Правде”, в ней упоминался доктор наук В. В. Терентьев — апологет реакционных взглядов. Оказывается, это и был Влад. Его и еще двух математиков стали склонять на лекциях в Высшей партийной школе как проводников семантического идеализма.

— Хотя бы объяснили, что это такое, — жаловался Влад. — Знаю только, что я дошел до геркулесовых столпов бесплодного формализма.

В один прекрасный день он появился в сопровождении двух военных, они привезли предписание отправить А. Г. Картоса и И. Б. Брука в Прагу, где начинаются работы по аналоговому вычислительному комплексу для стрельбы по самолетам. Отправляться немедленно, там все приготовлено к их приезду.

Джо заявил, что не хочет возвращаться в Прагу, они, мол, оба не намерены покидать Москву. И кроме того, ждут сообщения из секретариата товарища Сталина.

— Думаю, в инстанциях все согласовано, — осторожно сказал один из военных. — Если понадобится, вас вызовут.

Влад уговаривал их согласиться, самое лучшее сейчас удалиться из Москвы, с глаз долой — из сердца вон. Военные прикроют их зонтом секретности. Прага всего лишь география, работа пойдет на Советский Союз. Лаборатории там приличные, в средствах стесняться не будут, главное же — задача красивая, многообещающая...

— Увидимся, бог даст, когда страсти утихнут, — сказал Влад и добавил с усмешкой: — Если меня к тому времени не склюют.

Плечи его обвисли, он съезжился, как будто из него выпустили воздух, осталась лишь огромная голая голова на худеньком туловище. Они вдруг заметили, как плохо он выглядит.

XV

3 декабря 1952 года в Праге был приведен в исполнение приговор — агенты империализма, одиннадцать человек во главе с Рудольфом Сланским, были расстреляны.

Разразился мировой скандал. Во всех странах расценили дело Сланского как антисемитское. Из одиннадцати казненных восемь человек были евреями. Коммунистическим партиям Европы приходилось придумывать, отбиваться, отбредиваться. Руководитель французских коммунистов заявил: “Казнь Сланского не связана с антисемитизмом, а вот дело Розенбергов — пример антисемитизма!”

Английские, немецкие коммунисты повсюду твердили: “Травят евреев в США, а не в соцстранах! Дело Розенбергов сфабриковано, а дело Сланского не сфабриковано! Сланский признал себя виновным, они, все одиннадцать, признались, что предали родину!”

В Праге лабораторию вместе с институтом повели на митинг. В рабочее время, значит — в обязательном порядке. Колонна за колонной несли выданные плакаты: “Смерть наемникам капитала!”, “Если враг не сдается — его уничтожают!”, “Повысим бдительность!”. Это было накануне Рождества. В витринах сверкали серебряные звездочки, висели елочные украшения. Подарки заворачивали в рождественскую бумагу, украшенную блестками.

А с трибуны, усиленные репродукторами, неслись проклятия...

Джо и Андреа стояли, опустив головы. Слушать было тяжело. На обратном пути Джо рассказал Андреа историю с Миленой. Люди Сланского, видимо, творили черт знает какие беззакония. Об этом правительство знало или нет? Если не знало, то что это за правительство? Если были шпионы, то почему именно евреи? Получается, что одни и те же люди казнили Сланского и других как евреев и ведут кампанию против дела Розенбергов, доказывая, что это антисемитизм. Выходит, что антисемитизм — политический инструмент...

Ночью они слушали США. Американские ястребы обрушивались на демократов: “Сланский признает себя виновным, а вы считаете, что он невиновен. Как же так? Тогда будьте любезны и с Розенбергами рассуждайте так же, Розенберги считают себя невинными, а суд признал их виновными — значит, это правильно!”

— Сукины дети, как они манипулируют, — сказал Андреа. — Словно бы уселись на одну скамью коммунисты в обнимку с сенаторами и судят одним судом.

После казни Сланского и его приспешников Джо стал ждать разрешения проблемы Розенбергов. Они по-прежнему пребывали в камере смертников. Казалось бы, Америке сейчас выгодно сделать гуманный жест и помиловать их. Может, для этого достаточно какого-то толчка? Надо что-то сделать. Но что именно, он не знал, строил фантастические планы: может быть, они смогли бы здесь, в Праге, собрать пресс-конференцию, все же уникальный случай, два друга Розенбергов, два коммуниста, чудом спасшихся от ЦРУ, свидетельствуют...

— О чем? — холодно уточнял Андреа. — У нас нет никаких документов, ничего юридического. Что мы можем сообщить? Что мы не верим в их

виновность? Но это же глупо.

— А что умно? Что? — Джо раздражала спокойная рассудительность друга.
— Их могут казнить в любую минуту!

— Я уверен, что они невиновны. Но твое предложение абсурдно. Кроме того, мы не имеем права раскрываться. Мы дали подписку. И тем самым выключены из игры. Поэтому нам лучше об этом не думать. Бесплодные терзания только мешают жить и работать, у нас сейчас...

Как всегда, логика его была безупречна, непонятно лишь, как жить с ней, как Андреа сам, все понимая, все чувствуя, уживался в столь геометрически правильном мире.

Работа увлекала их, Андреа накинулся на нее с жадностью изголодавшегося. Устройство, которым они занимались, предназначалось для стрельбы по самолетам противника, под противником же подразумевались американские самолеты, их скорость, их данные — стратегическая доктрина советских военных строилась с расчетом на войну с США. Врагом номер один были американцы, но Андреа не обращал на это внимания. И Джо понимал его — задача была интересной сама по себе и технически и математически, а кто в кого стрелять будет — наплевать, такой заказ можно взять хоть от дьявола.

Лабораторию они получили приличную. Руководителем стал Андреа, заместителем — Джо. Первенство Картоса подразумевалось само собой: властный характер, сам склад инженерного ума позволяли ему из многих подходов безошибочно выбирать лучший и определять, как и кому что делать. Всякий раз, когда Андреа делал выбор, Джо интуитивно ощущал правильность его решения.

Они не обращали внимания на слежку за ними, на сдержанность сотрудников, их настороженность, на оглушительные сообщения, которые шли из Венгрии, где разоблачали шпионскую группу кардинала Миндсенети, затем группу Райка, в Болгарии группу Трайче Костова, повсюду американские агенты проникали в руководство, вплоть до Политбюро. Но Андреа и Джо знали, какими возможностями обладает ЦРУ, как энергично оно действует, и полагали: нет ничего удивительного в том, что во всех странах социализма находились предатели. Если же заговоры чисто антипартийные, то подсудна ли внутривнутрипартийная борьба? Своими размышлениями они делились только друг с другом, это они уже усвоили: ни с кем из сотрудников никаких разговоров о политике вести нельзя. Джо предупредил Андреа: “Они обязаны сообщать, не будем делать их подлецами”.

А работа, она спорилась, словно казни способствовали вдохновению. За полгода у них образовался задел идей на несколько лет вперед.

В конце января Андреа получил из Польши сообщение — Винтер признался: он был двойным агентом, завербованным ЦРУ еще в 1947 году. Это было чудовищно. Эн не могла поверить. Как же ЦРУ позволило спасти их? “Но он признался”, — повторял Андреа. Признание Винтера бросало подозрение и на них. Временами ругань в адрес американской военщины,

американской науки, американских небоскребов, кока-колы, джаза коробили их. Правда, американские антисоветчики тоже клеветали — по их словам, в Москве хватали людей прямо на улицах, на работу ходили строем, читали только брошюры. В конце концов, и дело Сланского и польские дела возникли не сами по себе, несомненно, что ЦРУ действовало, оно никогда не стеснялось в средствах. Джо и Андреа испытали на своей шкуре. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Не между Америкой и Россией, а между империализмом и социализмом. И они стали в этой борьбе на сторону социализма!

Выбило их из колеи сообщение от 13 января: в Москве раскрыта группа врачей-убийц, они готовили покушение на руководителей страны. Большинство арестованных были евреи, и Андреа опасался, как бы Джо не почувствовал себя уязвленным, но Джо и не подумал принять это на свой счет, он твердо знал, что антисемитизма в Советском Союзе нет и не может быть: Советский Союз разгромил фашизм, вместе с ним расовую теорию; здесь, в Чехословакии, в Польше, эти пережитки еще существуют, в Союзе же — никогда.

Комплекс завершили к февралю 1953 года. Опережая все сроки. Морозным солнечным днем начались испытания на полигоне. Комиссию составили из промышленников и военных. По летящей цели стреляли с земли. Из зениток, оборудованных приборами. Точность попадания получалась много выше обычной. И скорость стрельбы и прочие показатели обрадовали военных. Промышленники ворчали, но не слишком; как объяснили Андреа, промышленники всегда ворчат на всякий случай, но тут их все устраивало: и малые габариты, и сравнительная простота. Заместитель командующего, Герой Советского Союза, обнимал Андреа, обещал взять под свое крыло... Позвонил в Москву, доложил о хороших результатах, замечаний было немного. Чехи устроили банкет.

Андреа и Джо усадили в центре стола, между ними сел заместитель командующего ВВС Колосков. Поднесли бокалы, огромные, в виде колокола.

— Ничего не поделаешь, — сказал Андреа, — придется научиться пить, иначе мы тут пропадем.

Колосков похлопал Джо по плечу:

— Иосиф Борисович, ты не беспокойся, мы тебя в обиду не дадим!

Бывший летчик, пил он мастерски, но голова оставалась ясной, он четко, по деловому тут же между блюдами обговаривал условия следующего заказа. К Джо подошел маленький человек в штатском, с рюмкой.

— Поздравляю вас! — сказал он. — Узнаете?

Это был Сергей Сергеевич из Хельсинки — та же лиловая физиономия, только располнел, округлился, заблестел, как заново отлакированный.

— Я теперь тут. Курирую. Всех. — Еле заметно, ладошечкой, он обвел

пиршественный стол, а заодно как бы и всю эту маленькую страну. — А вы, значит, тоже здесь? Укрылись! — усмехнулся. — Но, видите ли, от нас не укроешься. — Он обратился к заместителю командующего: — Это ведь я товарища Брука вытащил к нам в Союз. Представляете, тапером работал в кабаке. Вот как туго у них ученым приходится! Боялся к нам ехать. — Куратор хмельно заулыбался. — Уж как я его обхаживал, товарищ генерал. Приятно видеть результаты. Мы люди скромные, о нас всегда забывают.

— О вас не забудешь, — весело пробасил генерал. — А забудешь, так вы напомните. — И заколыхался смехом. Вслед за ним все с удовольствием засмеялись.

— Действительно, — сказал Джо, — не хотел. Очень вы мне тогда не понравились. Я думаю, что без вас, с тем грузином, все прошло бы легче.

Шум за столом стих, их внимательно слушали.

— Перестарался ты, браток, — сказал замкомандующего пьяно-добродушным тоном. — Да все равно молодцы, что достали нам таких орлов. Выпьем за наших неслышных, можно сказать, интимных спутников!

Неслышный товарищ Юрочкин чокался безулыбчиво, к нему подходили и отходили; закончив ритуал, он поманил к себе Джо и чокнулся с ним повторно.

— За нашу следующую встречу, Иосиф Борисович. Бог троицу любит. — Он выпил, наклонился к Джо, оскалился, словно бы укусить собрался. — Не понравился я? Как же быть теперь, что делать?

Рядом с ним откуда-то появился бледный, плаксивого вида чех из “беспечности” (“По-нашему значит безопасность”, — пояснил Юрочкин) и пожаловался:

— Слыхал, Иржи, не нравятся ему наши органы. Всем сионистам мы не нравимся. Насильно мил не будешь. А мы ценим вас, Иосиф Борисович. Верно, Иржи?

— Ценим, — подтвердил Иржи. — Но я их не люблю.

— Да, они народ неблагодарный. Вы ведь наш должник, Иосиф Борисович.

— Что я вам должен?

— Нехорошо... Я передам генералу Гогоберидзе, какая у вас плохая память.

— Да, перед генералом я в долгу.

— Ну слава богу.

— Мы давно ценим товарища Брука, — с печальным смешком сказал чех.

Замкомандующего, услышав, погрозил им пальцем.

— Не надейтесь! Не отдам! Вы любите хапать. Знаю я ваши шарашки. Ничего, — обратился он к Андреа, — вы наше имущество. Это я вам говорю! Пока что с нами считаются!

Значение полупьяного этого разговора открылось Андреа спустя годы.

Безопасность любила иметь своих спецов, свои конструкторские бюро, лаборатории, свою химию, физику, свою технику, связь, транспорт, литературу, медицину. На нее работали известные ученые, их то сажали, то выпускали. Крупный радист А. Л. Минц рассказывал Андреа, как однажды его вызвал Берия и приказал ускорить строительство новой радиостанции. “Не сделаешь к сроку — посажу!” — пригрозил он. “Так я уже сижу, гражданин министр”, — сказал Минц. Берия выругался. “Ну тогда если сделаешь в срок — выпущу!”

В новосибирском Академгородке замечательный физик Борис Румер рассказал Андреа про шарашку, где вкалывал, будучи зэком. Вместе с ним там работали Туполев, Мясищев, Петляков, Карпов — он перечислял имена авиаконструкторов, ракетчиков, хорошо известные Андреа. Среди многих рассказов Румера особое впечатление произвела история Роберта де Бартини. Представитель древнего итальянского рода, он юношей вступил в компартию в первый же год ее создания, в 1921 году. С тех пор идея социализма завладела всеми его помыслами. Прекрасное образование и блестящие способности обещали ему большое будущее. Фашистский переворот 1926 года, захват власти Муссолини заставил де Бартини уйти в подполье. Он мог уехать в любую страну Европы; вместо этого с благословения Антонио Грамши, руководителя итальянской компартии, отправился в СССР “помогать строительству социализма”. За несколько лет он выдвинулся как выдающийся специалист самолетостроения. А в 1937 году был арестован и взят в шарашку. Как враг народа, как итальянец. Впрочем, причины и следствия взаимозаменяемы. Та шарашка конструировала новые бомбардировщики, истребители, штурмовики. Сколько было таких шарашек, неизвестно. Кормили в них прилично, харч был хорош и в войну и после. В распоряжении конструкторов были техники, модельщики, а также чертежницы, с которыми умудрялись уединяться в модели самолета, стоящей посреди зала. По словам Румера, зэки переправляли из своего пайка продуктовые посылки семьям в голодную Москву и в Свердловск. По случаю успешного завершения какой-либо модели устраивалось пиршество. Оттаскивали кульманы, сдвигали столы в один общий, выставлялась закуска, водка. Иногда на эти торжества приезжал сам Берия, привозил шампанское, конфеты, деликатесы, угощал своих “невольников”. Сидел во главе стола, нежился в образованном обществе докторов, профессоров и прочих арестантов, произносил тосты, выслушивал рассказы, анекдоты. Разрешались и вольности, за исключением одного — не полагалось обращаться к наркому с ходатайствами. Однако Роберт де Бартини, видя перед собою главу НКВД, не удержался и тут же за столом между тостами спросил его со всей учтивостью, за что, собственно, его заключили, в чем его вина, никаких конкретных обвинений ему не было предъявлено. Сильный акцент выдавал его происхождение, происхождение извиняло наивность, и это несколько

смягчило скандальный казус. Берия, надо признать, выслушал итальянца благодушно и ответил испытанной шуткой: “Было бы за что, ты бы не тут сидел!” Захохотали все, смеялись натурально, поскольку это относилось к каждому.

Угодить в подобную шарашку и наши американцы могли бы запросто, если б к тому времени оформилось соответствующее направление новой техники. Но пока что дело в свои руки взяли военные, толковые офицеры, они раньше других оценили возможности ЭВМ.

Москва выразила благодарность за результаты; пражской лаборатории выделили оборудование, добавочное помещение и штаты. Начальство считало, что важность каждой организации определяется количеством работающих. Большая лаборатория — значит, серьезная. Больше людей, больше квадратных метров — больше денег. Начальство изумилось, когда Андреа попросил дать ему пятерых электронщиков и пятерку монтажников. Не мало ли?

Чехи, люди хозяйственные, интересовались больше промышленными делами, они нуждались в станках с программным управлением и потихоньку протаскивали в план лаборатории свои темы. Военные ворчали: не отвлекайте, мол, наших. Отвлечение было на руку товарищу А. Г. Картосу: чем больше будет разных заказов, тем легче маневрировать, тем больше независимости. Система была непривычной, все планировалось загодя, любая новая конструкция, прибор, иначе нет для них материалов, потому как материалы тоже заказывали впрок — и паяльники, и сопротивления, и стенды. К тому же надо было сочинять никому не нужные отчеты, участвовать в соревновании, сидеть на собраниях... Удивительно быстро Андреа сумел изучить ритуальные обычаи, мало того, он научился обходить их, использовал свою как бы наивность, незнание языка и местных обычаев.

Джо стоял у окна и плакал. Не всхлипывая, неподвижно, беззвучно, как плачут мужчины, когда они плачут. Андреа сидел за столом, положив голову на кулаки. Прошло несколько часов с того момента, как его разбудила Эн и сказала самым будничным тоном, Андреа навсегда запомнил обыденность ее голоса: Сталин умер. Он не поверил — Эн поймала Би-би-си, вражеское радио могло придумать что угодно.

При входе в лабораторию вахтер посмотрел на его пропуск, ничего не видя. В лаборатории никто не работал. Постепенно Андреа осознавал ужас случившегося. Для него, да и для Джо, смерть Сталина означала катастрофу. Что-то должно было обрушиться, произойти, рухнула основа, на которой держалась вся система.

— Без него невозможно, — бормотал Джо, — что с нами будет?.. Для меня все кончилось... На нем все держалось.

Андреа не думал, что смерть человека, которого он никогда не видел, может вызвать такой душевный обвал. Как будто со Сталиным погибла идея социализма. Он подошел к Джо, положил ему руку на плечо.

— Что бы ни было, нас не разлучат. Нас двое.

Примерно так он сказал, точных слов он не помнил, и Джо не помнил, потому что в такие минуты важны не сами слова, а тон, и эта крепкая рука на плече, и главное — то, что не сказано.

“Двое”? Почему он не сказал “трое”? Андреа сам обратил на это внимание. Его поразила безучастность Эн. Она как бы не замечала ни их волнений, ни того, как они оба ежевечерне до поздней ночи сидели, прильнув к радиоприемнику. Передавали про огромные очереди прощания со Сталиным, потом про похороны; по словам Би-би-си, у Дома союзов, наискосок от гостиницы “Москва”, где они жили, произошла давка, погибло много людей.

— Я все отдал бы, чтобы попроситься с ним, — говорил Джо, на что Эн слегка поднимала брови. Молчание ее было выразительно. — Ты не согласна? — спросил ее Андреа.

Она повела плечом:

— Это должно было случиться... Стоит ли так убиваться? Люди давят друг друга — ради чего? Так не любят и не горюют.

Ее слова возмутили Андреа. Пожалуй, это была их первая серьезная ссора.

Спустя несколько дней пришло сообщение, что “врачи-убийцы признаны невиновными”. Эн сказала:

— Вот видите.

Андреа было решил, что она хотела утвердиться в своей правоте: Сталин умер — и оказалось, что врачи невиновны, а остался бы жить — и их бы расстреляли. Джо, узнав про врачей, не скрывал торжества:

— Они испугались! Они это затеяли в угоду Сталину!

Никто ничего толком не знал, но все связывали эти события, и что-то вообще стало неувлимо меняться.

Программное управление удалось. Чехи с гордостью показывали свою новинку, привезли советского министра какого-то машиностроения. Тот, человек тертый, поковырялся, пощупал и без стеснения спросил, сами ли чехи сделали такое, не лагерная ли, мол, это продукция, в смысле соцлагеря, небось содрали. Чехи обиделись, привели его в лабораторию, где познакомили с начальником, который грек, и его заместителем — откуда-то из Южной Африки. Министр недоверчиво расспрашивал, старался выяснить, имеются ли подобные штуки на Западе. У Андреа никак не укладывалось в голове: с одной стороны, русские утверждали, что все выдающееся сделано у них раньше, чем на Западе, с другой — были убеждены, что все путное создается только на Западе и если там этого нет, то и нам нечего соваться.

Министр, белобрысый мужичок, хитроватый, вразвалку походил вокруг Андреа, так же как перед этим ходил вокруг станка.

— Повторить такую хренацию для наших советских станков сумеете?

— Таковую? Нет смысла, — сказал Андреа с вызовом.

— Почему же?

— Пока мы делали, это уже устарело.

— Что же вы сегодня можете?

— Мы можем управляющую систему сделать меньше.

— Во сколько меньше?

Картос задумчиво погладил свой черный ус.

— Попробуем раз в... сто.

Министр заморгал.

— Во сколько?

— Сто, — повторил Картос небрежно.

Проверяя себя, министр оглядел свою свиту, затем Картоса и так и этак.

— Может, раза в три?.. Нам хватит.

— Вам хватит. Нам — нет.

— Ишь ты! Хвались — не подавись.

Картос непонимающе наморщился. Переводчик длинно стал ему объяснять по-английски. Картос перешел на русский.

— Вы хотите, чтобы мы делали по-маленькому? — аккуратно расставляя слова, выговорил он.

Министр расхохотался.

— Давай-давай, делай по-большому. Только не сорвись.

— Надо попробовать, — сказал Картос. — The proof of the pudding is im the eating (отведать пудинг значит съесть его).

— Это верно. По-русски — попытка не пытка, а спрос не беда. Не попробуешь — не узнаешь... Но ты рискованный мужик. А чем отвечать будешь? Партбилетом?

Тут министру что-то зашептали, но он отмахнулся.

— Нет, пусть скажет чем.

— Своим именем.

Министр поднял брови.

— Что-то новенькое. Именем? Как у поэта сказано: что в имени твоём?

Картос нахмурился:

— Другого у меня ничего нет. Не хотите — не надо. Осторожность ничего нового не создает.

— Ты со мной не задирайся. Я тебе помогу. Не подведешь? Будешь доводить?

— Я буду, даже если вы не поможете.

— Ну, ты романтик. Ладно, где наша не пропадала, давай по рукам. — Он взял руку Андреа, хлопнул по ней ладонью. — Попробуем твой пудинг.

Картос стал рассказывать про транзисторы. Что это такое, министр еще не знал и верил он не транзисторам, а вот этому чернявому греку, потому как держался тот независимо, не торгуясь, не выпрашивая, не так, как новое племя ученых вроде тех атомщиков, с которыми министр уже сталкивался в Союзе. Для тех главным был собственный интерес. А в этом греке было приятное ощущение надежности.

“Имя, — повторил министр, выступая на коллегии, — человек поручился именем своим, дороже у него ничего нет”.

Производственное совещание, на котором настаивал профсоюз, Андреа провел по-своему. Он уселся на стол и, болтая ногами, принялся рассказывать о значении новой работы. Ничего конкретного, видно было, что ему самому интересно порассуждать о главном направлении, создавать устройства, имитирующие хорошего рабочего. Точность, быстрота операции, неукоснительное выполнение технологии, то есть образец добросовестной, грамотной работы. Программные устройства, по мнению Картоса, повышают требования к человеку, дисциплинируют, заставляют мыслить. Рабочий становится умнее. Воспитательное значение ЭВМ вызвало оживленные споры. Тем более что Картос как бы противопоставил атомную физику, которую он считал опасной, бесчеловечной (даже так называемый мирный атом и тот опасен), а кибернетика — это прежде всего помощь человеку и новые возможности для развития мозга.

Разговор этот словно бы оживил сокровенное, увядшее стремление людей осмыслить свою работу — во имя чего трудится лаборатория и каждый из них, существуют ли, кроме заказов, какие-то принципы. То, что предлагал Картос, подверглось замечаниям, поправкам. Однако оказалось, что его это

устраивало! Ему надо было найти то, на чем все сходятся!

Собрание ничего не решило — не было голосования, Андреа так объяснил Джо:

— Если люди сойдутся на чем-то, осознают принципы нашей работы, станут их придерживаться и помогать в этом друг другу, то все остальное им можно прощать, можно относиться терпимо.

Андреа менялся на глазах. Немногословный, стеснительный, плохо говорящий по-русски и совсем плохо по-чешски, он быстро набирался уверенности, делался и мягче и тверже, свободней и загадочней. Его назначение начальником лаборатории становилось понятней. Он руководил легко, не нажимая, а убеждая, умело показывая каждому, что тот может. Именно показывал, потому что вдруг выяснялось, что он умеет мастерски паять, монтировать, регулировать, настраивать... У него были рабочие руки, и это сразу вызывало уважение. А загадочным было его превращение из гадкого утенка в лебедя, из никому не ведомого косноязычного грека в руководителя, который свободно мог общаться с министром. Неизвестно, что этот Картос еще преподнесет. Все чувствовали, что он только начал раскрываться — этот черный ящик, полный сюрпризов.

Джо объяснял себе это превращение первыми удачами, страх прошел, Андреа зауважали, и он мог начать реализовывать задуманное. Но одно дело объяснять себе, другое — увидеть. Тот Андреа, который появлялся, был незнаком Джо. В сущности, они ведь никогда не работали вместе. Руками Джо тоже кое-что умел, но соревноваться с Андреа не мог, и язык ему давался труднее. Джо говорил на всех языках одинаково плохо, даже по-английски. Чехи считали, что ему мешает “африкане” его родного Иоганнесбурга. Их невольно сравнивали, всем казалось, что они соревнуются и Джо проигрывает.

Вскоре после лабораторного собрания Джо вызвали в знакомое ему здание, и знакомый ему Юрочкин, поговорив о том о сем, угостив кофе, рассказал, что к ним поступило донесение, будто он, Джо, то есть И. Б. Брук, нелестно отзывается о работах советских атомщиков, охаивает их достижения, клеветает и на рабочий класс, доказывая примитивность чешских и советских рабочих, считает, что их честность, добросовестность можно повысить лишь с помощью программных устройств.

Юрочкин распалился, вскочил.

— Вы не просто думаете! Вы ведете пропаганду! Высказывали это на собрании?

— Я? — удивился Джо.

— А кто же?

Что-то удержало Джо от немедленного ответа. Следовало сначала разобраться. Не могло быть такого, чтобы они перепутали. Да так грубо!

Андреа же говорил это перед всем коллективом!

— Не совсем правильно, — медленно произнес Джо, наблюдая за Юрочкиным. — Видите ли, автоматизация управления весьма облегчает...

Немного послушав, Юрочкин оборвал его, зачитав несколько фраз.

— Это ваши слова?

— Думаю, таково мнение ряда ученых. Отчасти и мое. Не полностью.

— Вы говорили это на собрании? Да или нет?

— Подождите, — сказал Джо и закрыл глаза, стараясь поймать разгадку, которая дышала где-то рядом, два ответа: “да” и “нет”; “да” — это моя речь; “нет” — не моя. А чья же? Товарища Картоса?

Простая логическая задача, двухходовка? Плевать этому Юрочкину на Андреа! Он меня ловит!

Когда вечером Джо преподнес эту задачку, Андреа сразу же сообразил: тебя хотели сделать доносчиком... Джо сник, он боялся Андреа, потому что Андреа был прав: “Не надо было заводить себя, обижать, оскорблять; глупо ссориться с системой, еще глупее увеличивать количество врагов, это непозволительная роскошь в нашем положении. Какого черта ты его срамил при всех, что мы с этого получили?..”

XVI

В час ночи слышимость становилась лучше, и им удалось поймать Англию, затем Германию. Передавали каким-то образом переправленное из тюрьмы заявление Розенбергов для печати:

“Вчера генеральный прокурор США предложил нам сделку — согласиться на сотрудничество с правительством и тем самым купить себе жизнь. Предлагая нам признать себя виновными, правительство тем самым заявляет, что сомневается в нашей виновности. Мы не будем способствовать оправданию грязного дела, сфабрикованного процесса и грязного приговора. Торжественно заявляем, что мы не поддадимся шантажу смертного приговора, не станем лжесвидетелями”.

Это было в ночь на 4 июня 1953 года. Прошло уже три года со дня ареста.

Эн первая почувствовала, что дело идет к развязке. Она была на пятом месяце беременности и особенно чутко и раздраженно воспринимала происходящее.

— Не понимаю, как можно из-за политики оставить детей сиротами, пойти на казнь. Ради чего? — спрашивала Эн.

— Они невиновны, они не могут признать себя шпионами, — говорил Джо.

— Они приняли героическое решение.

Ее прохладное недоумение сбивало мужчин с толку.

— Они жертвуют собою, защищая честь и репутацию нашей партии! — с жаром настаивал Джо.

— Хороша репутация, если ее надо поддерживать казнью.

— Ты не должна так говорить, — вмешался Андреа, — они спасают и свое честное имя.

— Глупости! Они ничего не докажут своей смертью, — отрезала Эн. — Подумаешь — шпионы! Как будто у русских мало шпионов среди наших. Да и что тут позорного — добывать сведения для Советского Союза? Вы ведь тоже считаете, что если для Советского Союза, то все можно? — ядовито осведомилась она.

— Эн! — сказал Андреа.

— А что? Вы оба выполняете военные заказы. Чем это лучше шпионской работы? В Штатах вы работали на американскую армию, здесь на советскую.

Слова ее задели их за живое.

— Да, мы готовы, — сказал Джо. — Они нас изгнали. И мы теперь, к твоему сведению, работаем не ради денег, мы можем здесь работать по убеждению!

— Ладно, черт с ней, с вашей политикой. Но Этель, Этель не должна... Она мать! Это выглядит тщеславием — погибнуть во имя великой смерти! Им хочется войти в историю Америки.

— Как тебе не стыдно! Уж ты-то не должна была ее упрекать, — вырвалось у Джо.

Эн встала с кровати, положила руки на живот.

— Я оставила детей ради любви, а не ради политики. — В голосе звенели слезы. — А у нее поза! Наша жизнь не наша собственность! Она дается нам свыше. Никакая партия не может ею распоряжаться.

— Ты права. Если бы все дошли до этого, не было бы ни войн, ни революций, — примирительно сказал Андреа. — И слава богу!

Мысль Эн двигалась в каком-то недоступном для Андреа направлении. Трагедия Розенбергов волновала ее прежде всего как трагедия их сыновей. Однажды она, например, заявила, что Розенберги должны, если уж речь идет о столь высоких материях, заботиться и о чести Америки, и незачем марать ее смертью невиновных. Они ведь считают себя невиновными? Такой поворот изумил Андреа. Это произошло после того, как в камере Розенбергов установили прямой телефон к президенту в Белый дом на тот

случай, если они решат уступить. Судя по всему, предсказания Эн сбывались, они не уступали, и день казни приближался. Ежедневно по радио они слушали репортажи о пикетах, демонстрациях протеста, предположения о действиях властей и о действиях супругов Розенберг. Психологи ЦРУ не советовали предлагать Розенбергам отступничество. Надо предъявить им материалы об уничтожении в СССР еврейских писателей, о том, как Сталин организовал дело врачей и убийство Михоэлса. Советский режим повел политику на уничтожение евреев. И попросить Розенбергов обратиться к мировой общественности в защиту советских евреев. Не обязательно изменять своим взглядам, они могут считать себя невиновными, но у них есть возможность остановить геноцид, к ним сейчас прислушиваются, им следует призвать евреев всего мира порвать с коммунистическим движением, ибо истинные интересы евреев выражает сионизм. Со своей стороны правительство сделает все, чтобы голос Розенбергов услышал весь мир. У них есть шанс выполнить историческую миссию, помочь еврейскому народу.

Розенберги подумали и отвергли это предложение.

— Почему? — недоумевала Эн. — Кому выгодно их упрямство? Разве что советским и чешским антисемитам. Они станут трубить: смотрите, в Штатах евреев сажают на электрический стул, там настоящий антисемитизм.

Джо не отрывался от приемника. Он не мог его слушать один и засиживался у Андреа до поздней ночи. Друзья горячо обсуждали все данные, которые удавалось извлечь из американских источников. Главным документом обвинения была какая-то “схема атомной бомбы”, которую Дэвид Грингласс передал Розенбергу. Они знали Дэвида, младшего брата Этели, — туповатый жадный парень, за неуспеваемость был отчислен из Политехнического института, и представить невозможно, чтобы он мог сделать “набросок, раскрывающий основной принцип атомной бомбы...”. “В чем этот принцип заключается? Можно ли установить его на основании этого наброска?” — допытывалась на суде защита. Ответ эксперта Джо записал: “Определенное соотношение сильных взрывчатых материалов соответствующей формы с целью произвести симметричную конвертируемую детонирующую волну”. Никакого смысла в этой абракадабре ни Андреа, ни Джо не обнаружили. Основная улика выглядела спорной, недостоверной. Соблюдая беспристрастность, анализировали и так и этак. И все равно выходило, что судебный приговор похож на политическую расправу.

Не вытерпев, Джо направил письмо в американское посольство с категорическим протестом, копию — в английскую “Дейли уоркер”, уговорил Андреа присоединить свою подпись. Через день их вызвал к себе Юрочкин. Уютный особнячок, голубые шторы на окнах, цветы и густой запах жареного лука. В присутствии нескольких человек стоя Юрочкин заявил, что они нарушают обязательства, принятые ими, и в случае повторения будут привлечены к судебной ответственности. Металлически четко, фраза к фразе, так, чтобы выстроилась как минимум тюремная решетка.

Джо принялся размахивать законами международной солидарности

коммунистов, нельзя, мол, бросать товарищей в беде, отдавать на расправу американской реакции.

— Мы сами разберемся, без вас, — сказал Юрочкин. — Вы нас не учите.

— Американскую обстановку мы знаем лучше вас! — В таких случаях остановить Джо было невозможно, его несло.

Монумент Юрочкина с трудом сохранил величественную позу.

— Вот бы вы и оставались там, в своей Америке. А то сбежали, коммунисты вшивые. А теперь туточки права качаете.

В тот же день и Андреа и Джо отправили в командировку на какой-то южный спецполигон, где продержали безвыходно две недели — ни телефона, ни радио, ни газет. Выжженная солнцем трава, птицы, дубы вперемешку с кустами акации, песчаные проплешины, искореженные мишени.

Абсолютный этот покой пришелся весьма кстати, можно было обдумать ход их работ. Андреа умел находить в любых обстоятельствах преимущества. Что могло быть прекраснее: лежать на солнышке и обговаривать, штурмовать, добывать задачки, которые подсовывала эта проклятая, эта волшебная, эта чудодейственная электроника.

Они вернулись в Прагу 15 июня. Спустя два дня после казни Розенбергов. Эн рассказала подробности. Юлиус сам идти не мог, его повезли к электрическому стулу на коляске. Спустя десять минут на этот же стул усадили Этель. Включили рубильник, и Америка вздрогнула. Свершилось. И всем стало ясно, что казнь эта навсегда останется в истории страны. Казнь Людовика XVI, убийство Линкольна, убийство Кирова, казнь Кромвеля, казнь Романовых, казнь Сакко и Ванцетти... Прибавилась еще одна кровавая веха в истории Америки, да и не только в ее...

Эн рыдала, она мало знала Розенбергов, встречались раза два, и они ей не понравились, но сейчас она плакала от стыда и обиды за свою страну. Порвалась еще одна скрепа. Отсюда, с этого берега, Америка все чаще виделась злобной, жестокой, опасной, ее ненавидели, и это было неожиданно. Ведь с детства Эн твердо знала, что ее страна — страна обетованная, куда стремятся люди со всего мира за счастливой жизнью. И вот она обернулась к Эн хладнокровной мордой убийцы. Предсмертные судороги Розенбергов заслонили собой зеленые холмы Итаки...

Андреа обнимал ее вздрагивающие плечи, прижимал к себе мокрое от слез лицо. Что он мог сказать? Что смерть их не напрасна? Что казнь откроет американцам глаза на антикоммунистический шабаш, охвативший страну? Слова не доходили, шуршали, как сухие листья. Эн думала, что оплакивает Розенбергов, а на самом деле горевала о своей стране. Она теряла ее! У Андреа был Джо, была работа, было будущее. Его родители из Греции, эмигранты, он сын эмигрантов, а она американка, дочь американцев, ее предки давным-давно покинули Швецию, полтора года лет как все живут в

Штатах, у нее есть только Америка, ничего больше.

Поразительно, как любящие люди бывают одиноки. Не догадываются, что творится в душе другого. Любовь еще не означает близости. У каждого своя, неведомая другому внутренняя жизнь. Андреа не мог или не хотел понять ее страх, разделить ужас безвыходности, для него все было просто. Похоже, он даже рад, что может теперь, когда все кончено, не оглядываться. Ему надо захлопнуть дверь в прошлое, иначе нельзя ни работать, ни существовать: “У нас нет выхода, мы должны принять систему, в которой очутились. Смотри, сколько здесь счастливых людей, как они воодушевлены своими планами. Мы должны решить для себя, что у нас нет больше никаких Америк и не будет”.

Вот этого-то она и не могла представить. Она никогда не приживется здесь. Ни в Праге, ни в Москве. Это все чужое. Втайне она надеялась, что они здесь временно, лишь бы укрыться, чтобы рано или поздно вернуться. Теперь родной дом ее разваливался, оттуда несет зловонием, там хозяйничают крысы.

Утешения Андреа были очевидны: у нее семья, будет ребенок, живут же люди и здесь, чужое становится своим, мы с тобой тоже были чужие; будет ребенок, и все образуется.

Сложнее было с Джо. Казнь Розенбергов разъярила его, он жаждал мести. Он готов был на любое безрассудство. Предупреждение Юрочкина не образумило его.

— Уймись, — просил его Андреа. — От твоих воплей никакого толку. Только радость Юрочкину, он тебя посадит в дерьмо по уши. Неужели не понимаешь, что все замыкается на нем? Куда б ты ни писал, куда бы ни звонил, все идет к Юрочкину.

— Все, да не все. Мы что, приехали сюда спасать свою шкуру? Не желаю беречься! Чтобы такая мразь, как Юрочкин, могла над нами измываться?

— И с Трумэнном воевать, и с Юрочкиным, а кто работать будет?

— Я потерял интерес.

— Это почему? У нас же была цель.

— Ах да, всеобщий прогресс, кибернетика для социализма... Мне надо что-то свое, свое собственное дело.

— Можешь открыть фирму под названием “Возмездие”.

Что-то в тоне Андреа заставило Джо насторожиться. Он замер, похоже было, что даже уши его поднялись. Что именно Андреа имеет в виду? Как всегда, Андреа был убедителен, и Джо запыхал. Знамя священной войны? Это его устраивало, им предназначено стать мстителями, покарать американскую военщину, ястребов Белого дома, всю эту маккартистскую сволочь. Сама судьба прислала их сюда! Ради этой высшей цели сохранила

им жизнь! Цель была конкретной: военные заказы. Они воодушевляли Джо.

Так Андреа удалось поджечь друга, но сам он чуждался политики. Для него целью работы была работа, она сама давала радость и как бы смысл жизни, которого на самом деле жизнь не имела. Иногда ему приходилось украшать работу словами, защищать ее принципами, соблюдая ритуал, который был людям почему-то необходим.

Андреа многие считали сухим рационалистом, прагматиком, а между тем часто перед сном его охватывало удивленное благоговение перед судьбой. В самом деле, в те дни, когда они были в Мексике, агенты ЦРУ выследили и схватили их общего приятеля Собелла, толкового инженера-электрика, которому нельзя было отказать ни в уме, ни в осмотрительности. Это произошло как раз тогда, когда они из вечера в вечер поджидали Винтера. Собелла доставили в Штаты и засудили — тридцать лет тюрьмы! Фактически лишь за то, что был коммунистом и другом Розенбергов. Такая же судьба ждала и Андреа. В том, что он избежал тюрьмы, не было его заслуги. Просто счастливый жребий. Он должник удачи. За удачу надо благодарить судьбу и воздать ей должное — так учил отец, знаток писаных и неписаных законов. Неблагодарность — одно из самых постыдных качеств человеческих. Эн не должна роптать — судьба пошла им навстречу, следовало благодарить ее. Нельзя жить воспоминаниями, так же как нельзя жить мстостью. Его душа отвергала временность, ожидание, все то, что угнетало Эн, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ожидание. Да, если угодно, он был рационалистом, и это правильно, рационализм помогал ему жить полнее, осмысленнее и ощущать красоту настоящего. Но при этом он был одинок. Самые близкие люди жили страстями и поступали вопреки разуму, и временами он болезненно ощущал свое одиночество.

ЭВМ для авиации, ЭВМ для ПВО были увлекательными задачами, к тому же подогреваемыми нетерпением Джо. По вечерам после работы они прикидывали примерные варианты будущих вычислительных машин, их размеры, вес, быстродействие. И спустя полтора месяца смогли выслать свои предложения в Москву генералу Колоскову.

Они родили свой вариант, а Эн родила в те же дни мальчика, слабенького, тихого, с ним было много возни. Тогда же, словно подгадав, позвонила Магда, спросила, не хочет ли Джо повидать своего сына. Оказывается, и у него сын?! Звонила она от своих родителей из-под Брно. Если он согласен, будет ждать его в воскресенье. Джо не знал, что ответить, сослался на то, что у него нет разрешения, без разрешения он не может выехать из Праги.

— Как хочешь, — сказала Магда без всякой обиды.

Однако скоро раздался новый звонок, незнакомый мужской голос сообщил: если он соберется к семье, ему будет предоставлена машина и разрешение на поездку — туда и обратно.

Эн заставила его согласиться. Как бы то ни было, это его ребенок. Джо в этом не сомневается, однако никаких отцовских чувств не испытывал. И когда он увидел пухленького славного карапуза, не было ни волнения, ни желания найти свои черты, себя в этом пухлом тельце. Магда похорошела,

раздобрела, деревенский румянец освежил ее одутловатое бледное лицо.

Дом ее родителей стоял на краю поселка и имел все что положено: фруктовый сад, аккуратно подстриженную лужайку, погреб, заполненный яблоками, грушами, переложенными соломой для зимнего хранения, на продажу. Родители, милые люди, встретили Джо радушно, несколько робея и заискивая, особенно отец, толстый, пыхтящий, с подслеповатыми красными глазками. Он все старался понять, о чем они с Магдой говорят по-английски.

После торжественного обеда Магда вывела Джо погулять по поселку. Малыш шел сам, держа их обоих за руки. На них смотрели, и Джо понимал, что Магде приятно это парадное шествие. Родители Магды обожали внука, боялись, как бы Магда не уехала с ним в Прагу. Вопрос этот Джо замаял, спросил только, нужны ли ей деньги. Магда отказалась — никаких денег, это ее ребенок, полностью ее. Она счастлива, что у нее есть сын, и благодарна Джо. Зачем же тогда позвонила? Она замаялась, потом сказала, что ей предложили. Зачем это им нужно? Она не знала. Что же, она по-прежнему связана с ними? Они помогают ей кое в чем, дают заработать на переводах. Понравился ли ему мальчик? Все дети прекрасны. Она назвала его Джордж. Он пожал плечами. Неужели его не трогает то, что у него есть сын? “Тебя это должно устраивать”. — “Ты хочешь вернуться в Москву?” — “Да. Рано или поздно надо перебраться, здесь не развернуться”. — “Боюсь, что тебя отпустят туда только со мной”. — “Тяжелый случай”.

Они говорили о себе так, как будто речь шла о чужих людях. Жизнь в Союзе Магду не прельщала, но и отказаться она не посмела бы. “Тебя не любят советские”, — предупредила она.

От этого посещения у него остался на губах вкус поцелуя в теплую яблочную щеку мальчика.

XVII

Осенью пришло сообщение из Москвы, что по новым правилам иностранцы к секретным работам не допускаются, поэтому их предложения не могут быть приняты. Андреа отправился к Юрочкину. Тот устранился: к сожалению, помочь ничем не могу. Более того, был вынужден на запрос Москвы предупредить о политической неустойчивости товарища И. Б. Брука. Да и о моральной неустойчивости, поскольку он, И. Б. Брук, бросил свою семью, не помогает ей. Главное же, конечно, — политические взгляды...

Таким образом, их планы рушились, военные заказы откладывались, значит, и на разворот исследований, на создание лабораторий и конструкторских бюро надежд не было. Знакомый военпред сказал, что Колосков ничего не в силах сделать. “С органами не поспоришь, сильнее кошки зверя нет”. Это было печально, но Андреа уже привык к зигзагам здешней жизни. “Ладно, мы подождем, но вам ждать нельзя, — сказал он военпреду, — вам деваться некуда, вы должны торопиться, американцы не ждут”.

В его уверенности было нечто мессианское. Как будто ему было известно,

что никакие силы не смогут помешать ему выполнить свое предназначение.

Откуда приходит такое знание, неизвестно, но когда оно дается, то человек может одолеть, казалось бы, несокрушимые препятствия. Его ничто не останавливает — ни запреты, ни сомнения, ни разочарования.

Их вызвали в Москву, всех троих, вернее, четверых, потому что Эн поехала с новорожденным мальчиком. Опять поселили в гостинице “Москва”. На первом же совещании предложили организовать лабораторию в Ленинграде. Джо пытался выяснить, кто им поспособствовал, Андреа это не интересовало, он принял случившееся как само собой разумеющееся. Единственное, на чем он, кажется, поскользнулся, это штаты, средства, помещения. Начальство было разочаровано столь скромными цифрами. Дела, большие, так не делаются.

В перерыве в туалете рядом с Андреа оказался один из штатских членов совета, выбритый до синевы, крючконосый, мрачный, похожий на престарелого разбойника.

— Просчитались вы на порядок, — глядя в писсуар, тихо сказал он. — Поскромничали. А скромность, она дешевой выглядит. А от дешевки нечего ждать.

— Чем экономнее, тем больше доверия, — сказал Андреа.

— Это, может, у капиталистов. А в России другие правила. Запрос карман не тянет. Бьют — беги, дают — бери. Сразу хватай что можешь, с запасом. Завтра вам понадобятся еще люди — не дадут.

Разбойника звали Легошин. Был он физик, академик, шибко засекреченный, он понравился Андреа толковыми советами, поговорочками. Изучая русский, Андреа прежде всего записывал пословицы, всякие просторечия, меткие словечки. Вечером он зачитывал их Эн: “Сколько хер не трясси, последняя капля в штанах останется, как сказал академик Легошин”. Кстати, Легошин же посоветовал ему обращать внимание на надписи в общественных туалетах, там самый сочный, вкусный язык, ибо, как заметил один поэт, “только там свобода слова”.

Новый год в России почитали больше, чем Рождество. В эти дни из небытия вынырнул Влад. Он вернулся в Москву с грандиозными планами — кибернетики готовились к решающим боям.

Новый год встречали в номере у Андреа — с огромным тортом, шампанским. Эн не удалось достать индейку, вместо нее были цыплята табака. Во втором часу ночи мужчины прошли под предводительством Влада по длинному гостиничному коридору, устланному красной дорожкой. Двери многих номеров были открыты, их зазывали, поздравляли с Новым годом, угощали, что-то новое появилось у людей — иностранцев не боялись, во всяком случае куда меньше, чем в прошлый раз.

С ними знакомились так называемые реабилитированные, те, кто вернулся из лагерей, некоторые отсидели по пятнадцать, семнадцать лет. В ту ночь

они ничего не рассказывали — веселились, пели лагерные песни с чувством и слезами. В них не было угрюмости или злобы. “Это возможно только в России!” — кричал Джо, он светился от счастья за этих людей. С одним из них, Губиным, они познакомились. Влад заставил его рассказать, как били на допросах, как следователь оторвал ему ухо.

— Где этот следователь? — спросил у него Джо.

— Здесь, в Москве, жив-здоров. Меня вызвали в прокуратуру, предложили подать на него в суд.

— Ну и что же вы?

Губин отмахнулся, зашелся надсадным кашлем. Старомодный суконный костюм болтался на его тощей фигуре. Был он по специальности хирург, Влад называл его Тимошей.

— Как же ты, Тимоша, отказался? — допытывался Влад. — Какой у тебя резон?

— Знаешь, я так думаю: партии нашей это не на пользу, авторитет ее пострадает. — Губин поежился стеснительно. — Все же я в партию вступил в год смерти Ленина, орденосец, и вдруг откроется, что этот мальчишка меня ногами топтал. Нехорошо.

Джо бросился его обнимать. Какие люди, какие коммунисты!

— Эх, Тимоша, такой мог бы устроить процесс показательный, — горевал Влад. — Шанс был!

По морозной, скрипучей Москве Влад потащил их к своим приятелям. Там стояла елка, украшенная блестками и дутыми шарами, горели тонкие свечи. Уже все было съедено, оставался только винегрет и водка, и бесконечные разговоры — о политике, о Хрущеве, о реабилитированных, но больше всего о Сталине, о культе личности. Рассказам о Сталине не было конца. Что-то словно прорвалось у всех этих мужчин и женщин. Спорили, безумец он или преступник, совместимы ли гениальность и злодейство, оправданы ли его преступления, а все же благодаря ему разгромили фашизм, да при чем тут он, воевал не он, а народ под водительством Жукова, Сталин ни разу не побывал на фронте, продолжал он дело Ленина или же исказил. С упоением передавали легенды о его злодействах и коварстве. У Андреа и Джо дух захватывало от их откровений, поражало бесстрашие, с каким эти русские подступали к величайшей фигуре современности, кумиру, обожествленному как никто мировой общественностью. Они ужасались, а Влад подсовывал им все новые сведения, он хотел сокрушить их представление о Сталине, старался высвободить и свое сознание от веры, страхов. Кибернетика занимала его все меньше. Он собирал свидетельства о Сталине, помогал печатать на машинке какие-то статьи, задержанные цензурой, работу одного биолога о лысенковщине, работу другого своего приятеля о первых месяцах войны с немцами. Поведал он это под секретом, но все это клокотало, выплескивалось из него, да и вся его компания, видно,

участвовала в его делах.

Влад и Джо быстро нашли общий язык. Один за другим появились литературные сборники с крамольными рассказами, повестями, повсюду обсуждали роман Дудинцева, рассказы Яшина, Гендрякова, стихи Евтушенко, в газетах эти произведения громили, запретили новую симфонию Шостаковича. Проходили пленумы союзов писателей, композиторов, московскую интеллигенцию раздирали страсти. Одни обличали доносчиков сталинских времен, другие на партсобраниях заставляли каяться инакомыслящих. Джо ринулся в этот водоворот со всем пылом новобранца. С утра отправлялся с Владом по каким-то адресам молодых художников, на сборища историков, выступления поэтов, которые собирали тысячные аудитории. Восторг освобождения народного сознания захватил Джо полностью. Поздно вечером он вваливался в номер к Андреа переполненный рассказами, сипел пересохшим, сорванным голосом. Вокруг него всякий раз возникало вращение желающих просветить этого нескладного иностранца. Влад терпеливо переводил ему непонятные места... Кончилось все это тем, что Андреа решил ускорить отъезд в Ленинград. Есть возможность устроить Влада в лабораторию руководителем группы с полной самостоятельностью, они могут составить прекрасный триумvirат, Влад, столичный теоретик, наберет к себе молодежь и займется проблемами, о которых он давно мечтал, вместо этой политической суеты. Произошел резкий разговор. Для Андрея Георгиевича, может, это и суета, для советских же людей нет ничего важнее: очистить свои мозги, не дать реставрировать сталинизм, для этого надо мобилизовать все силы, чтобы скорее покончить... Надо выбрать решающее звено, сегодня это не кибернетика. И Джо энергично поддержал его, незачем форсировать отъезд в Ленинград, когда происходит переворот в сознании людей и столько спорных вопросов, в которых он, например, не согласен с Владом и его друзьями. Андреа все это не одобрял.

— Какие из вас политики? Дилетанты. Беретесь не за свое дело.

Влад развел руками.

— Видите ли, Андрей Георгиевич, специалистов по ликвидации культа личности нигде не готовят.

— Я не могу вами командовать, но мне жаль, что пропадет ваш редкий талант.

— Я вернусь.

Андреа покачал головой.

— Куда?.. Ученый как птица — должен высидывать яйца не отрываясь. Но Джо я вам не отдам. От него один вред. Вы подумали, зачем вам иностранец, да еще состоящий под наблюдением? Это несерьезно.

В тот раз они чуть не поссорились, но Андреа настоял на своем.

— Ваша позиция понятна, — сказал в заключение Влад. — К сожалению,

она слишком напоминает позицию многих наших ученых, которые тоже не хотят ни во что вмешиваться. Только из-за страха. Поймите, дело идет не о политике, а о способе жизни!

Выяснилось, что Джо увлекся не столько политикой, сколько одной из девиц, занятых политикой. Если бы не брак с Магдой, он готов был тут же жениться и взять ее с собой в Ленинград. Она явилась на вокзал провожать его. Курносая, скуластая, решительно-резкая, с большими смеющимися глазами, из-за вязаного платка похожая на матрешку, она отличалась от прежних поклонниц Джо и неожиданно понравилась Эн. Звали ее Валентина, Валя. Джо звал ее Аля. Она басисто плакала, всех перецеловала, обмазав губной помадой, утиралась концом платка и подарила Эн свои меховые рукавички.

В Ленинграде их встретил настоящий мороз. Когда они вышли из вагона, то не могли открыть глаза — смерзлись веки. Было минус тридцать.

Они приехали в город, в котором им предстояло устроиться надолго. Отсюда должна была начаться их настоящая жизнь. И настоящая работа. Давно позабытое чувство оседлости появилось с первых же дней. Как только устроились в гостинице, взяли такси, отправились посмотреть город Великой Октябрьской революции, бывшую столицу империи, северное чудо, созданное Петром Великим. Сразу же открылись стройность и простор широких проспектов и площадей. Здания были изукрашены снегом, белизна выписала каждую лепнину, стены поблескивали от инея. Город был сказочно красив. Воздух колочее искрился. Огромная Нева вся замерзла, покрылась льдом. По гладкой снежной равнине шли лыжники. Город, как сказал словоохотливый шофер, стоит лицом к реке. В садах за коваными решетками толпились черно-белые замороженные деревья. Город был по-американски разлинован, располагался на островах среди каналов и речушек, закованных в гранит. Ничего похожего на тесноту Амстердама. Они проехали по Васильевскому острову от Ростральных колонн до самого взморья, недоверчиво выслушали рассказ шофера — про то, как весь этот остров с его линиями и проспектами был спроектирован царем Петром двести пятьдесят лет назад. Значит, еще до Нью-Йорка? Значит, геометрическая сеть авеню и стрит лишь повторила петровскую планировку? Шофер был доволен и показал им то, что иностранцам не показывали: княжеские дворцы-поместья, особняки, запущенные, облупленные, но все равно прекрасные. Во всем чувствовалось аристократическое происхождение этого города... Еще стояли дома, разбитые снарядами во время блокады, сохранялись раны, нанесенные осколками бомб. И всюду кони, колесницы, гранитные львы, львиные морды, подворотни, замкнутые дворы, узорчатые решетки... Строгая чопорность и печаль, холодность и красота. Была в этом городе какая-то тайна, скрытая под снежной маской.

Здесь происходили революции, отсюда началась Российская империя, здесь она кончилась и началась другая страна; город этот, свергавший власти, сам был свергнут, отвергнут, лишенный всех привилегий, он оставался опасным и непонятым. После Москвы он показался им свободным от чиновничьей суетности, и они сразу влюбились в него.

Несмотря на жестокий послевоенный жилищный кризис, им довольно скоро выделили по отдельной квартире. Дом еще не был готов, не подключили газ, не работал лифт, но они не стали дожидаться, переехали. Спали на полу, готовили на электрических плитках, которые то и дело перегорали. Наплевать, наконец-то они обрели пристанище. Жилье, семья, любимая работа — что еще надо человеку? Можно было обосноваться, купить билеты в филармонию, завести книги, повесить абажур, сделать шкафчик для инструментов. После всего, что с ними приключилось, обыденность была счастьем.

Слухи о том, что иностранцы возглавляют лабораторию вычислительных машин, поползли по городу. Во-первых, кибернетика все еще одиозная специальность, во-вторых, иностранцы; говорят, что чехи, но и чехи в ту пору были пришельцами из других миров. К ним потянулись молодые инженеры.

Андреа и Джо отбирали людей не торопясь, придирчиво. Каждому устраивали экзамен. Джо отрастил бороду, сидел с трубкой в зубах, напоминая скандинава. Андреа — прямой, при галстуке, отглаженный, корректный, немногословный. Было известно: в случае, если недоволен ответом, он крепко сжимает ручки кресла и говорит еще медленнее. Старается говорить по-русски, иногда только переходит на английский и останавливается, давая время понять произнесенное. Подготовиться к экзамену было невозможно, эти иностранцы спрашивали все — полупроводники, оптику, металлы, как паять, чем заменить диод, как взять такой-то интеграл, кто такой Густав Малер.

Алексея Прохорова срезали на токарном деле, он попробовал защищаться: “Я же не станочник, я научный работник”. “Мне нужно больше, чем научный работник, — сказал ему шеф, — мне нужен инженер!”

Молодые долго обсуждали эту фразу. Выходило, что этот тип ставит инженера выше ученого? Алексей Прохоров потом попытался выяснить у Картоса, так ли это. И кто тогда сам Картос, он же ученый, настоящий ученый? В глазах советской молодежи ученый был куда выше инженера. Никто из них не хотел числиться инженером, тем более тогда, когда ученые-физики ходили, овеянные славой создателей атомных и водородных бомб, могущества страны.

Оказалось, по Картосу, что ученый лишь открывает существующее в природе, законы ее, так сказать, бытия; инженер же изобретает то, чего нет и не могло быть, начиная от колеса и сковородки, вплоть до застежки-“молнии”, великого изобретения XX века, так совершенно серьезно определил Андрей Георгиевич.

Марка Шмидта срезали на каком-то русском инженере Лосеве; оказывается, этот Лосев в 1921 году построил полупроводниковый прибор “Кристадин”. Марк разочарованно скривился: вот уж не ожидал, что эти иностранцы будут тянуть уже осточертевшую всем нудягу про наше российское во всем первенство! Выяснилось, однако, что в американском журнале изобретатель транзисторов отдал должное своему предшественнику Олегу Лосеву, забытому у нас, который, между прочим, умер здесь, в Ленинграде, в

блокаду, в 1942 году. И получалось: Марк не Лосева не знает, что не беда, а не читает текущей литературы. Высказано это было ему деликатно, оба, и Брук и Картос, старались никого не обидеть.

Замечено было, что Картос никогда не ругался, не употреблял грубых слов, приходилось вслушиваться в его интонации, различать полутона, что, по словам Прохорова, весьма утомляло наш слух, непривычный к таким тонкостям.

К ним шли привлеченные новой, недавно запретной областью. Те, кому опостылела рутинная, восторженные мальчишки, те, кто верил в свою звезду. Отправлялись, как позже молодежь уезжала на целину, как когда-то американцы отправлялись осваивать свой Запад. Кибернетика была для молодых неведомой целиной, эти двое, иностранцы, — проводники, или скорее предводители. Бородатый — длиннорукий, развинченный — походил на пророка, его предсказания казались фантастичными, его идеи вызывали то иронию, то восторг. Ко второму приближались с опаской, общение с ним требовало напряжения, о нем спорили, некоторые уверяли, что он гений, другие — что шпион, молодые скептики пробовали его и так и этак, пока тот же Прохоров не определил: “Нашего шефа не сжуешь, он несъедобен”.

Лаборатория заработала. На удивление слаженно. Принятые только что на работу из разных коллективов, институтов люди действовали энергично и весело, негодных оказалось мало, они уходили сами, тихо, убедившись, что им не угнаться, что ничего у них не получается. Лаборатория была самостоятельна, хотя внешне выглядела как и все подобные подразделения — выходила стенгазета, брали социалистические обязательства, проводились общие собрания, в холле повесили Доску почета. Поэтому не очень-то понятно было, почему в лаборатории “п/я № 106” царил совершенно особый дух, настроение, несвойственное учреждениям этого типа. Сам Картос никогда не формулировал своих принципов, не оглашал их в виде свода правил, они выявлялись постепенно.

...“Лучший путь к успеху — успех”. Это означало: советую вам не изучать вопрос в поисках наилучшего решения, а сделать для этого хоть малость, успех, хоть крохотный, должен быть каждый день.

...Вторая фраза, которую он повторял и которую можно было считать тоже принципом: “Держись за свое вязанье” (свое вязанье — то есть не лезь в чужое для тебя). Как женщина каждую свободную минуту берет за спицы, продолжая вязку, так и ты: занимайся тем, что знаешь, и безотрывно.

— С чего вы взяли, что они сделают лучше вас?

— Но у них больше опыта!

— Значит, и больше предрассудков.

...“Не бойтесь, что этим уже занимаются, у вас голова устроена иначе, чем у них”.

...“Успех — это ваш успех. Неудача — это наша общая неудача, всей лаборатории. Постоянная неудача невозможна. Неудача постигала каждого, и Фарадея и Эдисона”.

Как все это было не похоже на обычное “давай-давай!”. Не было слышно и привычных угроз: выгоним, отберем партбилет!

...“У вас получилось? Отправляйтесь домой!” Это прозвучало впервые, когда Марк прибежал и доложил, что схема с триггерами действует лучше, чем ожидали.

— Домой поезжайте.

Марк был ошарашен.

— Но сейчас только двенадцать часов!

— Вот и хорошо. Пойдите в кино, в баню, к врачу.

— Зачем?

— Явитесь на работу завтра. С успехом надо переспать. Утром увидите истинную цену... С неудачей тоже полезно переспать вместо бабы.

...“Если вы настаиваете — пожалуйста, делайте”. Человек должен действовать самостоятельно.

...“Чем выше уровень власти, тем меньше людей”.

У него было всего два заместителя. Первый — Джо. Без всяких конкретных обязанностей. Джо советовал, вникал, следил за состоянием проблем в других странах и непрерывно фонтанировал идеи. Кроме того он, как правило, руководил мозговыми атаками при решении трудных задач. Второй заместитель решал организационные дела. Однако обращались к нему, да и к самому Картосу, не так уж часто, потому что лабораторию шеф разбил на мелкие группы — “чем меньше команда, тем она самостоятельнее мыслит, тем конкурентоспособнее, у малых групп больше честолюбия”.

Однажды к Картосу явился Виктор Мошков, торжественно объявив: “Я нашел хорошее решение!” Андреа, выслушав его, спросил: “И что из этого следует?” Виктор обиделся. Тогда Картос рассказал про своего приятеля, художника, который поехал в Париж и решил там остаться. “Он пришел к Шагалу, показал ему свои работы: “Видите, я хороший художник!” “Хороший, — сказал Шагал, — и что дальше?... Вава, — крикнул он жене, — дай ему тысячу франков!” Так и у вас”.

Позже Джо спросил его: “Ты меня имел в виду? Мою неудачу в Париже?” Андреа отнекивался, но Джо был убежден, что эта притча о нем.

Можно было бы собрать целый свод правил, соблюдение которых обеспечивало успех лаборатории. Скажем, Андреа предпочитал скорбно промолчать, вместо того чтобы выругать: “Невысказанное недовольство

звучит громче”.

Он избегал говорить: “Нет, это плохо, не пойдет”. Он задавал вопрос за вопросом, пока оппонент сам не начинал сомневаться.

Однажды Картос зашел в комнату, спросил, где Аркадий Тимченко. Ответили, что того нет на месте. Когда вернется? Неизвестно. А он сказал, где он находится? Нет, не сказал.

— Ну как же так, — вырвалось у Картоса, — ему же деньги платят!

Простейшее это недоумение запомнилось, его повторяли много лет. Наивность человека из другого мира позволяла увидеть нашу жизнь со стороны.

Этому странному, на советский взгляд, руководителю почему-то всегда было интересно знать мнение подчиненного. О себе, о других, о тематике, структуре лаборатории, о заказе. Несколько раз он порывался провести анонимное анкетирование, ему не позволили.

Сами по себе эти королевские наборы качеств, правил, приемов мало что объясняли. Секрет состоял в том, что от себя Картос требовал того же, чего добивался и от других, относился он к себе беспощадно, да еще и иронично. То есть он чрезвычайно уважал себя, если ему удавалось найти какое-то неординарное решение. И он же первый издевался над собой за ошибки. Правда, как заметил Виктор Мошков, “вы это позволяете себе только потому, что первый их находите”. Мог, например, на семинаре рассказать о своей работе над одним измерительным прибором примерно так:

“Через полгода возни я получил туманное представление о том, чего я хочу. Еще два месяца ушло на то, чтобы понять, что я вообще изучаю. Прибор я сделал быстро, зато он долго не работал. Я изменил методику, разработал новую подвеску. Это оказалось удачным изобретением, но не для моего прибора. Я выяснил, как надо вычитать ошибки, и вывел неплохую формулу, и тут я установил, что все дело в том, что были неверно присоединены провода. После этого все равно ничего не получилось. Сигнал был слабее в три раза, чем полагалось... Затем что-то получилось, и прибор заработал. Что именно получилось, никто не знает и никогда не узнает. Прибор работал и показывал сигнал в два раза чаще, чем надо. И какие-то еще дополнительные сигналы. И тут уж ничего нельзя было с ним поделаться...”

Вот за что его обожали!

Однажды его поймали на противоречии. Он равнодушно пожал плечами: “Мало ли что я говорил, не стоит ко мне относиться некритически. Есть только два авторитета абсолютных — Христос и Ленин”.

Фразу эту толковали по-разному. Сошлись на том, что он имел в виду учения, которые изменили образ мышления людей.

Подступиться к нему с общефилософскими вопросами не решались. Ждали,

когда он придет, сядет и заведет разговор на посторонние темы. О поэзии. О музыке. Такое он себе позволял. Редко, но позволял.

— Почему Христос оказал такое влияние? — спросил он однажды. — Вы можете сказать?

Никто не мог ответить, может, кто и хотел, но ждали, что скажет шеф.

— В христианской религии есть жертвенность. Человек приносит в жертву себя, эта религия не требует приносить в жертву других.

Никто с ними никогда не говорил о таких вещах.

— Бога познать нельзя. Люди Бога не знают, они знают пророков — Будду, Раму, Христа.

Андреа предупреждал Алешу Прохорова, что путь, избранный им, тупиковый, а через месяц объявил на семинаре: “Мы убедились в бесплодности такого варианта”. Пришлось Прохорову принять вариант Картоса, и когда схема показала хорошую надежность, Андрей Георгиевич объявил это достижением Прохорова. Так она и вошла в технологию как схема Прохорова. Алеша пробовал протестовать, но Андреа пренебрежительно отмахнулся: “Не мелочись”.

Это у него было общее с Бруком, Джо тоже не особенно занимала проблема авторства, идей хватало. Они появлялись одна за другой, к вечеру он не помнил утренних. Андреа старался его идеи просеивать, порой шутливо жаловался: “Джо — мой крест, четыре часа в день приходится тратить на споры с ним, есть ли жизнь на Марсе”.

На самом же деле среди множества безумных, непривычных идей Джо был небольшой процент стоящих. Может, одна на сто блестящая, и это оправдывало все. Но и бредовые идеи тоже возбуждали фантазию. Он нравился большинству сотрудников тем, что ни на чем не настаивал: хотите — берите, хотите — бросайте в корзину. К нему то и дело обращались за справками, советами, он много и быстро читал и знал все, что творилось вокруг ЭВМ. Джо перелопачивал великое множество материалов, его называли шагающий экскаватор. Стоило Андреа предложить что-то, как Джо оснащал это предложение ссылками на такую-то фирму, где то-то успели проверить, а там не вышло, а те вложили деньги тогда-то и нет результатов. Он работал как персональный компьютер Андреа, хотя в то время еще таких не было.

Источник идей, источник информации — разделить эти роли Джо было трудно. Имелось у него и еще одно странное качество, можно даже сказать, редкий, особый дар. Он умел находить слабые места в сложнейших схемах, расчетах, технологиях. К мелочам не придирался, а вот в сомнительное место тыкал с ходу. Андреа говорил о нем с возмущением:

— Строишь, строишь хрустальный дворец, отделываешь детальку за деталькой, шлифуешь, любишь, тут появляется Джо, бац копытом — и

остаются одни осколки.

Секрет состоял в том, что один он знал, куда бить копытом. Поэтому и обращались к нему в самых крайних случаях. Тянули, как с визитом к зубному врачу.

Желающих работать в Лаборатории прибывало. Штатное расписание было все заполнено, и Андреа вспоминал вещице слова Легошина над писсуаром. Жаль было отказывать молодым способным ребятам. Тот самый Виктор Мошков был вначале отвергнут по причине отсутствия мест. Он не отступился, настаивал, ждал на лестнице. Буквально. Приходил с утра, устраивался на подоконнике. Поскольку он хорошо решал задачи, к нему стали обращаться сотрудники. Полтора месяца он и работал на подоконнике, пока не освободилось место. Андреа брал лишь тех, у кого “головка работала”, не обращая внимания на анкеты и инструкции, требующие брать по анкетам.

Никто не знал, какая анкета у начальника Лаборатории и его заместителя. Даже кадровик не знал. Единственное, что знал этот полковник органов безопасности, что расспрашивать своих начальников о их прошлом строго воспрещено. Каждого вновь поступающего он предупреждал об этом: никаких вопросов И. Б. Бруку и А. Г. Картосу об их прошлом не задавать. Об их образовании, связях, личных делах не спрашивать. Никогда, ни при каких обстоятельствах.

Известно лишь было, что они прибыли из Чехословакии. Потом просочилось, что Джо окончил университет где-то в ЮАР. Или родился там. И больше ничего. Оба начальника существовали без всякого прошлого. Это было странно, волновало воображение. Человек, у которого отобрали тень. Как в старой сказке.

Циники приходили к выводу, что это шпионы. Считать иностранцев шпионами было самое привычное. Так десятилетиями воспитывали и газеты, и кино, и радио. Романтики утверждали — нет, не может быть. Доказательств у них не было, как, впрочем, и у циников. Были только вопросы — зачем большим ученым становиться шпионами? Что кибернетики могли в те годы нашпионить?.. Ну хорошо, а кто же они тогда? Не знаете — значит, шпионы.

И по сей день ученики не знают в точности, кто был их учитель в той, прошлой жизни. Откуда он появился, как он стал таким — они и не вникают, они сходятся на том, что “он был нашим учителем, великим учителем”. В конце концов, мы ведь не знаем ничего достоверного о юности и молодости всеобщего Учителя, сына Божьего. Он появился перед учениками зрелым мужем.

Ныне ученики Андреа Костаса — точнее, Андрея Картоса — обзавелись учеными степенями, должностями, разъехались по всему миру, обрели высокое мнение о себе, скепсис, ишиас, своих учеников, все, что положено крупным ученым. Вспоминая об учителе, они срываются на восхищение тех молодых лет. Тщеславие их особого рода, имя Картоса по-прежнему упрятано в тень секретности, звание его ученика ничего не дает. Они

гордятся учителем вопреки всему, его имя — знак принадлежности к опальному ордену, украшение их родословной, тайный герб, не внесенный ни в какие геральдики.

XVIII

Новый хозяйственник Лаборатории был выпивоха и хват. Первое время он, как и положено, сокрушался над промахами своего предшественника. Под организацию Лаборатории можно было захватить и соседний флигель, и валюты побольше... Бесцеремонно заявился в дом к Картосу, к Бруку и пришел в ужас — чтобы его начальство жило в такой нищете? Невозможно, позор Лаборатории, позор ему, Тищенко, и всему Ленинграду. В течение месяца он обставил их квартиры. Использовал сильно действовавшее в те годы средство: “Это для иностранцев надо. Неудобно перед иностранцами. Неужели мы не можем двух иностранцев обеспечить? Что скажут про нас иностранцы?” Действовали эти его аргументы безотказно. У Картосов появились холодильник, телевизор, костюмы, импортная спальня, проигрыватель, для Эн — велосипед, кастрюли всех размеров; для Джо Тищенко раздобыл старенькую списанную “Волгу”, немецкий рояль, из трофейных. “Иностранец — главный гражданин в стране, — поучал он, — пользуйтесь”.

За кабинетом Андреа имелась комнатка — для начальственного отдыха и приема гостей. Картос использовал ее по своему вкусу: оборудовал там для себя мастерскую. Тисочки, станочек токарный, инструменты, все миниатюрное, для точных работ, туда он уединялся мастерить всевозможные приспособления, а главным же образом чтобы думать. Ему хорошо думалось за ручной работой.

Начали проектирование новой ЭВМ и в первых вариантах добились хороших результатов, добились бы большего, если бы не элементная база. Эта база была аховая. Блок весил сотни килограммов. Ставить такую дылду на самолет невозможно. Приехал замминистра Степин — вник. Степин умел вникать в суть проблем, стоящих перед исследователем, подсказать ничего не мог, зато обеспечивал доверие и спокойную обстановку, без погонялок, дерготни, невысказанных сроков, всего того, что мешает думать. В этих иностранцев он поверил, сразу учуял совершенно новую атмосферу. Зайдя как-то в кабинет начальника, прошел без спроса, как всегда делал, в заднюю комнату. Осмотрел верстак, лабораторный стол с блоками, платами, ничего не сказал, этой картины ему было достаточно.

Весной у Картосов случилось несчастье: умер ребенок. В городе свирепствовала эпидемия какого-то нового азиатского гриппа с тяжелыми осложнениями. Первым заболел Андреа, но он наглотался таблеток и, не обращая внимания на температуру и врачей, улетел на пусковые испытания на Север, где грипп его сразу “вымерз”. После него заболел мальчик, слабенький его организм буквально сгорел за три дня. Когда Андреа вернулся, все было кончено, мальчик был похоронен. Эн встретила Андреа без слез, холодно, почти враждебно.

Сын занимал в их жизни куда больше места, чем им казалось. В доме вдруг стало пусто. Тихий этот, болезненный мальчик часто пугал Эн своим

недетским, испытующим взглядом, он смотрел на нее, будто не веря, что она его мать. Никто больше не мешал Андреа, когда он уходил к себе в кабинет, не появлялся перед ним без спроса, не ползал под столом.

Эн не принимала никаких утешений. Ее молчание росло, становилось все напряженнее, пока не прорывалось из-за какого-то пустяка потоком обвинений: Андреа заразил мальчика, бросил ее одну, ради своей работы он принес в жертву семью. Ее нельзя было остановить, она твердила, что он никогда ее не любил, она для него была лишь средством утешения, удобным спутником, ради нее он никогда ничем не поступался, Винтер был прав, она жалеет, что не послушалась тогда... Проклятый город, проклятая страна! Не выдержав, Андреа тоже сорвался, швырнул ей в лицо ее собственную вину, от которой она пряталась, — это она не уберегла малыша, она плохая мать, дети никогда не были главным в ее жизни, поэтому малышу не хватило здоровья.

В ярости они наносили друг другу раны, которые никогда не могли зажить. Куда исчезла их любовь? Безудержная злость кружила их, унося от горя, и они с каким-то наслаждением вымещали свою боль друг на друге.

Разумеется, вскоре они помирились, но оба чувствовали: что-то непоправимо надломилось. Они испортили свое прошлое.

Эн устроилась преподавателем в вечернюю школу. Теперь они встречались лишь по воскресным дням.

Следующую ЭВМ пробовали ужимать то там, то тут, мудрили, выскребали по килограмму. Мелкая экономия ничего не решала. Искали, искали, пока Джо не выступил с безумной на первый взгляд идеей: “Избавим транзисторы от оболочек!” Без кожухов? Реакция была раздраженная, насмешливая. Бред! Абсурд! Все равно что людей пускать голыми. Подождите, ходят ведь папуасы голенькими? Первый, кто принял сумасшедшую идею Джо, был Андреа, подсчитал и сказал: “Попробуем”. Договорились с заводом. Степин поддержал, дал команду. Первую машину довели на обычных транзисторах, вторую сделали на голышах. Разница получалась наглядной. Степин привез с собою целый вагон начальников — чтобы похвастать машиной и своими “оглоедами”, словечко, которое никто не мог толком перевести Андреа. Новая машина выглядела как газовая плита рядом с русской печью, как ручные часы рядом с напольными... Старая и то была для многих откровением. К ЭВМ еще не успели привыкнуть, люди медленно оттаивали после наскоков на “лженауку”. Новая машина демонстрировала разительный скачок, “принципиально иной подход”, как пояснял сам Степин. Улучив минуту, Андреа шепнул ему, что ничего принципиально иного пока нет, это еще впереди...

— А ты помалкивай, — сказал ему Степин. — Начальников не учат. Когда блюдо стоящее, не стесняйся расхваливать. Я с них получу вдвое. Я ничего зря не делаю, — подмигнул хитро.

И на вид он был хитрющим, по-цыгански смуглым, с чубом, с глазками, спрятанными глубоко под мохнатыми широкими бровями. Когда сердился — а был он вспыльчив, — бледнел, становился страшен. Его боялись, но и

любили — за то, что, пообещав, делал; выдавить же из него обещание было трудно, он славился скупостью, крестьянской прижимистостью. Один из первых в стране он понял, какое огромное будущее у компьютеров, и постарался наложить лапу на это дело, прибрал к рукам лаборатории, проектные институты, конструкторские бюро других министерств. Он захотел стать монополистом, по своему характеру он и был монополист, своих поощрял, своим создавал все условия, чужих — зажимал, подставлял ножку. На лабораторию Картоса после успеха новой ЭВМ Степин сделал ставку. Увеличил штаты — набирайте хоть до полтысячи человек. Денег сколько надо. Почувствовал — эти ребята не подведут.

Гольши позволили Джо сконструировать микроприемничек. Такой крохотный, что его можно было вставлять в ухо, как вставляют ватку. Величиной с пуговичку. Мастерили эту штучку с удовольствием, сами не веря себе, что такая кроха на транзисторах сумеет дать хорошую слышимость, настройку — словом, обеспечить качество приема. Подобных приемников в то время, а это было начало шестидесятых, не существовало. Ничего похожего. Нигде. Джо носился с этой крошкой, доводя ее со своими помощниками до совершенства. Блаженные месяцы. Пуговка хорошела, голос ее звучал все чище. Изготовив несколько образцов, Джо отправился с ними в Москву. Добился приема у Степина, что было непросто. Джо вставлял в ухо очередному чиновнику свою пуговку и, затаив дыхание, ждал. Эффект был безошибочный. Джо поздравляли, обнимали, но сам он приходил в еще больший восторг. Ему помогли попасть без очереди к Степину.

Замминистра приемничек понравился. Он забрал все экземпляры, пошел по начальству, показывал эту диковинку. Начальство игрушку одобрило. На следующий день Степин сам вызвал Джо, приказал сделать еще десятка три — для подарков.

— Вроде сямка, пустячок, а знаешь, как довольны! Кричать на меня хотели. Вместо этого еще попросили штучку, — рассказывал Степин.

Почему десятки, их надо гнать тысячами, подхватил Джо, надо только поставить производство на автомат. Это вполне реально, у него заготовлены эскизные проекты, если дать задание одному, двум КБ, то за несколько месяцев можно будет изготовить, взять под это дело любой радиозавод и запустить в серию, а если вывозить за границу, то продавать там минимум по шесть-десять долларов за штуку. Ничего подобного на Западе не видели. Затраты на рекламу не понадобятся, новинкой заинтересуются все торговые фирмы! Каждому человеку захочется иметь эту пичугу, как назвал ее Степин, — удобно, интересно, можно сидеть с ней в метро, в приемной, идти по улице и слушать музыку.

У Джо все было обдумано, бруклинские легенды с детских лет манили мечтой найти свою золотую жилу, набрести на Великую Идею, разбогатеть разом, и вот наконец она открылась в блестящем, столь обещающем исполнении — штучка, которая прославит его и Советскую страну, ибо только такие, казалось бы, мелочи прославляют. Они тиражируются миллионами, сотнями миллионов экземпляров. Вечное перо, зонтик, жевательная резинка, каучуковая подошва, фильтр для сигарет — такие

изобретения становятся постоянными спутниками людей.

Степин слушал его с удовольствием. Ораторский талант Джо отличался самовозгоранием, собственная речь вдохновляла его, расцветая метафорами и броскими образами: “В каждом американском ухе будет говорить советское изделие!”, “После спутника последует новый триумф советской техники!”...

Джо уже парил в этом огромном кабинете, поднимался все выше к сияющим небесам будущего, законы массовой моды потребуют миллионных заказов, будем возить вместо леса, золота и нефти эти пичужки, самолет заменит караван судов и танкеров, выйдем на рынки Латинской Америки, Канады; не сырье, не истребление запасов, не полуфабрикаты — на рынок пойдет законченное изделие высокой инженерной культуры, техническое новшество, пропаганда советской индустрии!

— И все это при нашей жизни, — мечтательно сказал Степин, — а мы-то чем занимаемся!

Его и вправду тронуло. Чувств своих он опасался, поэтому никакого ответа не дал, обещая подумать, но надо, чтобы Брук завтра же встретился с начальником главка Кулешовым...

Вечером Джо с Алей отправились к Владу на черствые именины. Два дня назад Влад отмечал свой юбилей. Джо преподнес ему последний экземпляр пичужки. Пришел Тимоша Губин с женой. Тимоша в качестве подарка хотел рассказать Владу историю смерти Сталина. Влад попросил разрешения записать ее на магнитофон. Жена Тимоши умоляюще посмотрела на мужа, Тимоша виновато погладил ее руку — где наша не пропадала, дарить так дарить.

— Ко мне этот рассказ дошел под строгим секретом. Слышал я его от моего учителя М. Он был крупным терапевтом. Замечательным врачом, это я могу засвидетельствовать. И абсолютно, я бы сказал, достоверным человеком. Так что первоисточник доброкачественный, он умер три месяца назад, и я хочу его рассказ сохранить, пока он свеж в памяти...

Ночью на 3 марта за М. приехали. В дверях появился полковник. В форме МВД. Сказал: собирайтесь быстрее, поедете со мной. Домашние высыпали в переднюю в ужасе. Это был 1953 год, когда раскручивалось вовсю дело врачей. Были арестованы друзья, знакомые — Вовси, Егоров, Виноградов, лучшие кремлевские специалисты. М. оставался, один из немногих, на свободе. Вот и за ним пришли. Что брать с собою? Ничего не надо брать, процедил полковник. Торопил раздраженно. Ни зубной щетки, ни бритвы, ничего, разве что ваш, как его, стетоскоп. Матюгался от нетерпения и какой-то непонятной злобы. М. попрощался с женой, детьми.

Сели в машину. Большая, черная. Полковник впереди, с шофером. М. сзади, один. Рванули, помчались, не считаясь со светофорами, на страшной скорости. Куда? Лубянка мимо, Кремль мимо. Впереди молчат. Между собой ни слова. Водитель даже не обернулся, когда М. сажился. По шоссе, сиреной пугая встречные машины, куда-то свернули, еще свернули, лес.

Шлагбаумы. Ворота. Проектор. Шофер засигналил. Ворота отворились. Опять шлагбаум. Полковник вышел, попросил выйти М. Зашагали по длинной аллее к дому. Из тьмы возникали фигуры, козыряли полковнику, исчезали. Дом освещен. Холл. Полковник передал М. генералу. Поднялись с генералом наверх. Все молча. Их встретил Берия. М. не поверил, что перед ним Берия. Так страшно было, сличал стеклянные крылышки пенсне, лысину, тонкие губы. Берия сказал М.: “Профессор, мы вас позвали как специалиста, товарищ Сталин заболел. Мы понимаем, что сейчас для медиков обстановка трудная. Но мы вам доверяем, просим, чтобы вы действовали без страха, как сочтете нужным”. Он говорил возбужденно, глаза его сквозь стекла блестели, казалось, внутри у него что-то бурлит, кипит.

Сталин лежал на диване, глаза закрыты, в одной рубашке, прикрытый пледом, хрипел, без сознания. Были несколько врачей, полужнакомых, у изголовья сидела дочь Светлана.

М. обратил внимание, что левая рука у Сталина была парализована, и, видимо, давно. Сухая, желтоватая, она лежала неподвижно. Правой он дергал ворот сырой от пота рубашки.

М. попросил анамнез. Оказалось, никакого анамнеза у Сталина нет. Даже самой старой истории болезни не было. Никаких медицинских документов не нашли. Никто не знал, были ли они вообще. Когда-то его пользовал один грузинский врач. После смерти этого врача неизвестно кто лечил, кто наблюдал за его здоровьем. Неизвестно, когда у него случился первый удар, как лечили. Кажется, Виноградов, но Виноградов в тюрьме. Сведения о том, что и как произошло с товарищем Сталиным, изложил очень скупо начальник охраны. Товарищ Сталин не подавал признаков жизни, не открывал дверь. Пришлось взломать. Лежал на полу. Без сознания. Перенесли на диван.

Тщательно осмотрев больного, М. собрал консилиум из присутствующих врачей. Никто не хотел ставить диагноз. Отмалчивались, мычали неразборчиво, ждали, что скажет М. В соседней комнате находились члены Политбюро. Время от времени заглядывали к врачам — Ворошилов, Маленков, Хрущев, Каганович, Булганин... Опытный глаз М. сразу же определил почти полную безнадежность больного; дохнула ли при этом на него тайная радость, неизвестно, вполне возможно, что и нет, потому что М. был врач, насквозь врач, и лежащий перед ним был уже не Сталин. В конце концов М. вынужден был произнести свое заключение — инсульт. Его испуганно поддержали: согласен, согласен, согласен. Наметили некоторые меры. В это время приехала неизвестно кем вызванная бригада снимать кардиограмму. Возглавляла бригаду круглая толстоногая женщина-врач с хриплым голосом.

Сняв кардиограмму, врачиха тут же объявила, что у больного не инсульт, а явный инфаркт. М. пробовал объяснить ей, что при инсульте на кардиограмме иногда получается картина, напоминающая инфаркт. Врачиха странно посмотрела на него, не ответив, направилась в соседнюю комнату. Оттуда вскоре явился Берия. Сказал, что вот кардиограмма показывает инфаркт, а М. лечит от инсульта, — как это понимать? Подошел Булганин,

еще кто-то. Обстановка становилась опасной. Врачиха настаивала, повысив голос, потрясала кардиограммой. М. обратился к коллегам. Они, опустив глаза, молчали, один пробормотал: “С кардиограммой нельзя не считаться”. Берия испытующе переводил взгляд то на врачиху, то на М., облизывал губы. Он должен был принять решение. Тогда М. заявил, что он настаивает на своем диагнозе, он будет лечить только инсульт, ничего другого. Инфаркт требует другого подхода, на что он, М., категорически не согласен. Подействовала ли его решительность на Берию или были тут какие иные соображения, но М. запомнил, как дьявольски сверкнули устремленные на него глаза. Берия щелкнул пальцами и предупредил М., что тот головой отвечает за правильность лечения. Зачем, почему М. принял на себя ответственность? Он ведь понимал, что если удастся Сталина вытащить из коллапса, участь арестованных врачей будет ужасна. Ему следовало сказать, что кардиограмма не меняет дела, но на всякий случай надо сделать то-то и то-то. Но у него и мысли такой не появилось. Он признавался, что шел на риск, чтобы спасти Сталина, которого он считал убийцей и палачом. И все, что он делал дальше, должно было вытащить больного из коллапса. Перед ним был только больной, никто больше. Слава богу, что природа воспротивилась. Сыграла свою роль и эта врачиха, из-за которой потеряны были драгоценные часы, и отсутствие анамнеза. Буквально все препятствовало...

М. дежурил, не отходя от больного, больше суток.

Вечером 5 марта Сталин умер, не приходя в сознание. Врачи констатировали смерть. В комнату вошли члены Политбюро, сын Сталина, дочь, еще какие-то люди, долго стояли в молчании, глядя на покойного, словно проверяя врачей. Потом ушли в соседнюю комнату. Было составлено правительственное сообщение. Никто не уезжал. Все ждали. Сидели молча у радио. Под утро по радио передали сообщение о смерти вождя. Прослушав, все заторопились к машинам, уехали в Москву. Как будто передача по радио сделала событие уже окончательным, непоправимым.

Дача опустела. Сталин лежал на той же кушетке, всеми покинутый. М. заявил, что надо будет произвести вскрытие, он настаивал на этом, чтобы подтвердить правильность диагноза. Куда-то звонили, долго выясняли, можно ли везти, на чем, кому. М. договаривался с патологоанатомами мединститута. Никто не хотел ничего решать. Правительству было не до трупа. Наконец М. добился разрешения. В санитарную машину положили покойника, завернутого в простыню, рядом с ним сел М. Другой врач поехал в легковой машине. М. остался наедине с вождем. Охранник сел в кабину к шоферу. Ехали долго. У этой машины не было ни сирены, ни мигалки. Машина тряслась, тормозила. Простыня сползла, окоченелое тельце открылось в старческой наготе. Сухая рука Сталина спадала, голова подпрыгивала. М. наклонился подложить под нее подушку и увидел перед собой сквозь плохо прикрытое веко желтый глаз. Глаз смотрел на него. Перекошенное лицо кривилось. Известное по ежедневным портретам до последней своей черточки лицо вблизи оказалось изрытым оспой, открылась плешь, усы растрепались, повисли, это был не генералиссимус, не вождь — жалкая сморщенная оболочка, малорослый старик.

М. привык к трупам. Для него труп былместилищем недавних страданий,

анатомическим пособием, вещь. Но здесь было нечто иное. От этого трупа было не по себе. М. попробовал придержать холодную чугунно-тяжелую голову, но тут же отдернул руки, как будто кто-то мог увидеть его недозволенный жест. Он никак не мог свыкнуться, что перед ним труп, он был один на один со Сталиным. Не было ни скорби, ни радости, только жуть.

У Садового кольца застряли перед светофором. Долго не пускали. Показались милицейские машины, за ними следовала черная кавалькада начальственных лимузинов. Они неслись, блистая никелем, протертыми стеклами с задернутыми занавесками, бронированные, огромные, все светофоры встречали их зеленым светом.

В прозекторской уже ждали патологоанатомы, терапевты, президент Академии медицинских наук. Труп внесла охрана, несла неумело, ногами вперед. Со стуком опустили на мраморный стол. Двое офицеров, полковник и майор, остались у стола словно бы в почетном карауле. Двое встали в дверях.

Включили лампы. Сталин лежал под беспощадным светом. Плечи толстые, на щеках щетина. Обратили внимание на его ноги, правая, чуть подсохшая, была шестипалой. Темные ногти на ногах выпуклые, как когти.

Началось вскрытие. Когда большим ножом делали разрез, полковник судорожно всхлипнул, отвернулся. Пилой сделали распил. Осмотр сердца подтвердил, что инфаркта не было. Теперь надо было установить инсульт. Электропилой снимали черепную коробку. Обычно при вскрытии курили, переговаривались, пили кофе, коньячок. Ныне же царило молчание. Визг пилы казался непереносимо долгим. Вынули мозг, положили на поднос, отнесли на соседний стол. На бледно-серой мутной поверхности расплылось бурое пятно кровоизлияния. Диагноз М. полностью подтвердился. Сделали срезы. Переглядывались, без слов показывали друг другу белесые склерозированные сосуды, очаги размягчения. Возможно, двадцатилетней давности. Со времен Великой Репрессии. А может, еще с того времени, когда организован был голод на Украине.

Перед этими профессорами прошли тысячи подобных срезов, но тут руки их дрожали. Мозг этот так или иначе определил жизнь каждого из них, судьбы их родных, знакомых, их страхи, их миропонимание. Наметанный глаз наверняка различал поражения, те, что незаметно искажали личность. В этих извилинах вызревали ходы партийной борьбы, системы пыток, бесчисленные списки врагов народа.

Они рассматривали не препарат, а нечто чудовищное, предмет, откуда выходили ложь и ненависть, первоисточник зла. Мозг гения всех народов и времен, обожествленное вместилище мудрости Учителя и великого Стратега.

Перед ними должно было открыться нечто исключительное, на самом же деле, судя по состоянию сосудов, у него давно уже была потеряна ориентация — кто друг, кто враг, что хорошо, что дурно. Нарушенное питание мозга делало реакцию неадекватной, поведение —

непредсказуемым. Все было обманом. Огромной страной, всеми ее народами последние годы повелевал неполноценный, больной человек.

Они, врачи, все же настигли его, раскрыли его тайну — и в ужасе и стыде замерли перед ней. Рассказать, обмолвиться было нельзя. Даже между собой они боялись обменяться мнениями. По сталинским правилам их всех теперь следовало уничтожить.

Офицеры стояли в головах обезображенного трупа, с ненавистью смотрели на “убийц в белых халатах”, как называли тогда врачей газеты.

Черепную коробку надо было поставить на место. Насчет мозга никаких указаний не поступало. Мозг был вещественным доказательством правильности диагноза, мозг был страшной уликой, его следовало упрятать от всех врагов социализма, шпионов, пронырливых журналистов. Нельзя, чтобы люди узнали, кому они поклонялись, кого боготворили.

Надо отдать должное М.: замечательный русский врач, он единственный нашел в себе мужество рассказать об этом и даже оставил письменное свидетельство. Но в тот час и он был скован страхом. Если бы они могли, они подменили бы этот мозг, чтобы избавить страну от позора.

Рассказ Тимоши ошеломил даже Влада, собиравшего материалы о Сталине.

— Типичный рассказ врача, — определил Влад. — Интерьер вождя. Если не считать беллетристики, добавленной твоим воображением. Удержаться, конечно, трудно. Сюжет для кинофильма. Потрясающую картину можно сделать. Спрашивается, однако: неужели склеротические бляшки определяют судьбу страны и судьбы народов? Где же законы истории, движущие силы и прочие науки? Какая унижительная картина!

— При тоталитарном режиме? Да! — сказала Аля.

— Режим играет роль, — согласился Влад. — Малые возмущения в такой неустойчивой системе могут вызвать большие последствия.

— Я думаю, система склерозировала вместе со Сталиным, — сказал Тимоша. — Там тоже были уже и бляшки и размягчения, если бы нашей системе сейчас устроить вскрытие...

— Ой, не надо, — сказал Джо. — Это революция. Скажите, пожалуйста, а куда делся мозг вождя?

— Не знаю, может, он сейчас в сейфе у Хрущева, а может, в ИМЭЛе.

— Значит, его хоронили без мозгов?

— Меня другое поражает, — сказал Влад. — Если этот профессор, блестящий терапевт, не был бы так напуган делом врачей, если бы вызвали из тюрьмы Виноградова и они смогли бы как-то починить вождя — что бы с нами было?

— С тобой, может, и ничего, а уж евреев всех бы в резервацию запихали. Это было предрешено, — сказал Тимоша.

— В лагерях ужесточили бы режим. Никаких реабилитаций.

— А если бы он дал приказ сбросить атомную бомбу? — вдруг спросила Аля.

— Выполнили бы. Не сомневаюсь, — подтвердил Влад.

— Его же могли вылечить, — сказала Аля.

— Не вылечить, а кое-как подправить. Говорить бы не мог, а писал бы, и слушались бы его долго. Скрывали бы ото всех все эти молотovy, кагановичи. Старались бы сохранить его власть и свою.

Джо сидел, втянув голову в плечи, словно над ним проносились огненные смерчи, великаны размахивали мечами, сокрушая храмы и крепости.

— Ишь, что тебя увлекает — бизнес, — сказал Кулешов, как бы по-новому разглядывая главного инженера. — Живет в тебе, значит, этот капиталистический вирус. Цепкая, видать, штука. Да, я понимаю, что не в свои карманы тянешь, но ведь все равно коммерция.

Грузный, расплывчато-мягкий Кулешов играл при Степине роль громоотвода. На него сыпались упреки, если что-либо задерживалось, выходило не так. Он сносил все кротко, и неприятности, неполадки увязали в его благодушной покладистости. Новой лаборатории он заботливо помогал, правда, пытался втайне от Степина обуздать ее строптивых начальников.

Сейчас он принял Джо радушнее обычного, велел принести чай, расположился к беседе, что насторожило Джо, который приготовился к немедленным расспросам — сколько, чего, когда... Кулешов, однако, продолжал посмеиваться над коммерческой вспышкой Джо, простительным рецидивом его прошлого. Коммерция, твердо повторял Кулешов, не наше дело, правительство, слава богу, нам не отказывает, освобождает от всяких забот, во всем идет навстречу, это ценить надо.

— Плохо, что не отказывает, — вставил Джо, — жирная пища расслабляет.

Кулешов нахмурился, но продолжал свою, видно, обдуманную речь. Подчеркнул, что есть большой смысл в том, чтобы оборонка могла целиком отдаваться поставленным задачам. То есть крепить оборону страны. Создавать самую совершенную военную технику. В чем другом, но в этом нельзя уступать американцам. Некоторые надовольны: мол, много денег тратим. Он положил свою пухлую руку на руку Джо, доверительно пригнулся, понизил голос:

— Был я недавно на Совете Министров. Обсуждали просьбу фармацевтов завод им построить. Больно слушать было их мольбу. По нашим масштабам люди гроши просили. Все их хлопоты не стоят одной подлочки. И ведь

лекарства, это тебе не презерватив с кисточкой. Нет, не дали. А нам дают все, что просим. Не потому, что мы милитаристы. Ты знаешь — мы за мир. Но нам навязали. И мы вынуждены. Они думают, кишка у нас тонка. Посмотрим, у кого тоньше! Почему мы стали мировой державой, что у нас такого замечательного, а? Давай, не стесняйся. Почему к нам едут президенты, почему нас слушают — как полагаешь? Над нашими “Волгами” смеются, верно? Наши магазины доброго слова не стоят. А гостиницы? Ведь все плюются от нашего сервиса. Но едут к нам, смотрят нам в рот. Потому что у нас авиация первоклассная, флот могучий, потому что у нас ракеты и кнопка, кнопочка!

Он покраснелся, вспотел, глаза его блестели, чувства его прорвались сквозь служебную сдержанность.

— Ты, может, скажешь — армия? А я тебе скажу, что в сегодняшней стратегии армия фигурирует как гарнир. Все средства к нам, прибористам, идут, и правильно. Военная доктрина к электронике повернулась. Этого мы добились! Ракеты, подлодки, авиация — на них надежда. Наша это заслуга. Лучшие ученые у нас работают. У нас лучшие заводы, лучшие станки, институты. Думаешь, просто было военных повернуть? Мы повернули. Вовремя. Как в войну все для фронта, так и осталось. Ничего не поделаешь. Поэтому с нами считаются! Да, терпим, живем в коммуналках, мучаемся бездорожьем, больницы страшные, а все равно великая держава! В моей деревне из семидесяти дворов девять осталось. Разбежались кто куда. Все понимаю. Горько. Но надо терпеть. Народ терпит потому, что войны не хочет. А войны нет потому, что — сила! Лишь бы нам не подкачать, нашему комплексу, мы — стеной хребет державы. Ты скажешь, при чем тут твой приемничек? При том, что нам нельзя отвлекаться. Тебе нельзя отвлекаться. Твоей голове. Сегодня приемник, завтра телевизор. Нет, так не пойдет, дорогуша моя. Это я рассматриваю в масштабе одного человека. Так ведь могут и нас рассмотреть в масштабе главка, а то и министерства... Да, мы допущены. Оба! Допущены к оружию! Понимаешь, ответственность какая? На самом деле это мы с тобой управляем страной. От нас зависит... Все на нас замыкается. Нам про твои московские шалости сообщили. Ну и что? Мы сказали: этот человек нам нужный, не трогайте. И концы в воду. Мы — высший слой и должны ценить это. С нами соревнуются за океаном. Вот о чем надо думать! Обогнать! Только туда мысль надо направлять. Что надо, все отдать. Выгодно, невыгодно — не наша забота. А ты из нас хочешь торгашей сделать.

Кулешов взглядывал на него мельком, как на весы, и подкладывал еще и еще:

— С нами никто за стол переговоров не сядет, если у нас оружия настоящего не будет. Плунут и перешагнут. Кому мы страшны со своими деревенскими счетами и логарифмическими линейками? Я вообще думаю, что в нашу эпоху войны не будет, пока равновесие сохраняется. Они — компьютер на самолет, и мы — компьютер, они ракету на тысячу километров — и мы такую же. Чтобы ноздря в ноздю. А что тут приемничек твой, так такого можно много напридумывать. Копировальное устройство нам недавно принесли. Опытный образец. Зачем, спрашивается,

нам сегодня — листовки печатать? Нет уж, воздержимся. Не до этого.

Речь Кулешова все более походила на надгробное слово. Мечту Джо хоронили почетно, на кладбище других Великих Предложений.

— Зря ты сразу к Степину пошел, — сказал на прощание Кулешов. — От него ждут сейчас других вещей, о которых можно рапортовать. Да и ты, дорогуша, разве на этом взлетишь? За твой приемничек ничего не навесят, все ордена и премии выделены на госзаказы.

Таким образом, Кулешов разъяснил позицию замминистра Степина и, обласкав напоследок, пообещав вернуться к вопросу, когда станет полегче, отпустил Джо.

В словах Кулешова была убежденность, знакомая Джо по разговорам советских людей, — все что угодно, лишь бы не было войны. У них не было задиристости победителей, сознания народа-победителя, у них был страх перед новой войной.

Прощаясь, Кулешов признался:

— Разволновался я с тобой, сердце заболело.

Был он весь в поту, с прилипшими ко лбу волосами. Кое в чем он убедил Джо, проник, подействовала и сладкая причастность к власти и к тем, кто решает судьбу народов. Ничего не подделаешь, надо создавать оружие, такова наша участь. Нельзя забывать свою клятву. Америка сама сделала себе мстителя. Кулешов прав, идет война, пусть холодная, но война. На войне приходится жертвовать многим, и он, Джо, тоже приносит свою жертву.

Он шел по тесной московской улице, залитой солнцем, — город шумно плескался у магазинов, Джо и раньше поражал густой поток прохожих в разгар рабочего дня. Нигде, ни в одном европейском городе не было днем столько народу на улицах, как в Москве и Ленинграде. Стояла длинная очередь за луком. Шел переполненный раздрызганный автобус со сломанной дверцей. С лотка продавали порченую черешню. Двое ханыг предлагали часы-ходики. Пьяные толпились у пивного ларька, и там же ругались между собою инвалиды на костылях и каталках. Москва неожиданно предстала грязной и нищей, словно бы кто-то повернул хрусталик в его глазу.

Что-то не сходилось, как в школьной задаче. Считаешь, считаешь — все по отдельности верно, в итоге же чепуха. Так и тут — в ответе вместо миллионов долларов очередь за луком. Практический ум Джо никак не желал примириться с этим. Все доводы Кулешова были безупречны, логично связаны. Это с одной стороны; с другой — отказаться от бизнеса, такого выгодного для этой бедности, счастливого, как находка, — зачем, почему?

Вместо того чтобы вернуться в гостиницу, Джо зашел в ресторан “Метрополь”, куда не рекомендовалось заходить. Швейцар у входа оглядел

его в сомнении: “У нас только для иностранцев”. “А я думал, что у вас хороший ресторан”, — сказал Джо. “Пожалуйста, заходите, — сказал швейцар, который сразу усек акцент.

Его встретил раззолоченный зал, старинная мебель, дореволюционная роскошь дорогого заведения. Он заказал бутылку белого вина, фирменную отбивную, позвонил Але, чтобы приехала.

Вечерняя публика еще не нагрелась, оркестр не пришел, было междучасье, зал пустовал. Джо тоже отдыхал, потягивая грузинское вино. У него сохранилась привычка западных людей отдыхать в одиночестве, сидя где-нибудь за стаканом вина. Здесь, в России, полагалось заказывать еще какое-нибудь блюдо.

Наискосок от него сидели трое: два долговязых здоровых мужика в клетчатых пиджаках и женщина в алом костюмчике. Волосы ее были взбиты белокурой пеной, мужчины наперебой что-то рассказывали, она смеялась, откидывая голову назад, и следом начинали грохотать они. Джо прислушался, говорили о покупке трусов и лифчиков, ему нравилась громкость их голосов, интонация, и вдруг он сообразил, что говорят по-английски, вернее, по-американски, причем северяне. Первым его желанием было подойти к ним: “Привет, ребята, я Джо Берт из Нью-Йорка, сейчас живу здесь, в Союзе, не выпить ли нам за встречу, я угощаю”. Посидеть, потрепаться на родном языке. Но его тотчас остановила инструкция, строжайшая, обстоятельная, которую он подписал, которая исключала любые контакты с иностранцами. Зал почти пуст, тем не менее это станет известно, каким-то образом такие случаи всегда засекали. Джо встретился глазами с американкой, улыбнулся ей, она тоже улыбнулась, что-то сказала своим мужчинам. Они оглянулись на него, заговорили тише.

Покой же не приходил. У этих американцев покой был, а у него нет... К нему подошел один из американцев.

— Не поможете нам заказать несколько бутылок хванчары с собою? — попросил он.

Джо развел руками: не понимаю, извините.

Выслушав его рассказ о Кулешове, Аля сказала:

— Твой Кулешов живет не в коммуналке, небось имеет шикарную квартиру, дачу, паек и хвалит терпение народа и готовность жертвовать всем. Чем он сам жертвует, паразит?

Она была категорична и ни минуты ни в чем не сомневалась.

— Кто нас хочет захватить? Кому мы нужны, кому нужна наша страна, где нет порядка? Прокормить себя не можем, — рассуждала она, — ты бы видел, как голодают в колхозах. Мы ведь только иностранцам пыль в глаза пускаем. Но они тоже не идиоты.

Забавно было слушать эту курносую особу, у которой все было так просто.

Сталинистов устранить, молодежь к руководству, гэбистов судить... Трикотажная блузочка туго обтягивала ее выпуклую фигурку. Она ничуть не уступала этой кудлатой американке. Ни на минуту не умолкая, с аппетитом уплетала шашлык, пила вино, рассказывала про запрещенный фильм Хуциева, про выступление академика Сахарова на сессии Академии наук и прочие столичные новости. Как всегда, с ней было легко и весело. Немного раздражала ее манера запросто решать вопросы, которые мучали Джо. Она не признавала никакой правоты Кулешова: работать надо на людей, а не на генералов!

Влад писал статью для самиздатского сборника. История с приемничком огорчила его и обрадовала как хороший пример, который можно было привести, чтобы показать порок плановой системы. Со свойственным ему умением распутывать сложные схемы он помог Джо разобраться в ситуации. Кроме того, он достаточно знал Степина и хитрую механику министерских отношений. Причины отказа Кулешов изложил правильно, это была лишь та часть, которую полагалось знать Джо; существовала и другая, кабинетная. Изготовление приемничков передали бы какому-нибудь гражданскому министерству. Штатские оторвали бы себе и прибыли и славу, глядишь, и лабораторию Картоса на эти дела нацелили бы — и прощай тогда все надежды и планы Степина! Выгода — это хорошо, но сперва своя, а потом уже государственная.

— Степин пораскинул мозгами и решил придержать, потянуть с твоей фиговиной, там видно будет, пока на подношения сгодятся, а на тебя Кулешова спустил, чтобы тебе баки залил.

На Ленинградском вокзале у “красной стрелы” Джо встретил тех троих американцев, они ехали в Ленинград в одном поезде с ним. Увидев Джо, они переглянулись, покачали головами и скрылись в своем купе. Интересно, за кого они его приняли?

XIX

Бреясь перед зеркалом, Джо потренировался, изображая победителя. Чуть ироничный прищур, небрежный рассказ, без досады, мы добились своего, министерские работники восхищены, Степин, можно сказать, благодарил коллектив, создавший такую прелесть...

Они ждали его возвращения. Они сразу набились в его кабинетик. Те, кто работал и кто помогал. Теснились в дверях. Он хорошо позолотил пилюлю, но они раскусили суть, ничего не вышло, забодали, задробили, производство отложено, спрашивается — почему, на каком основании? Слова Кулешова перед этими ребятами не звучали. Они вкалывали без выходных, увлеченные не только изящным техническим решением, им понравилась идея выйти из безвестности на свет божий со своим изделием, да еще в Америку, утереть нос своим соперникам, вставить им в ухо свою дулю. При чем тут военные заказы? Идиоты, не удержался Марк.

Ребята померкли. Узкая лошадиная физиономия Джо вытянулась еще больше. Прохоров, добрая душа, бросился утешать его, в итоге решено было назло врагам отпраздновать Алешину свадьбу с участием Джо и Андрея

Георгиевича.

Все же это неслыханные люди, восторгался Джо, это люди новой формации, они все страдают не за себя, а за свое государство, и эти ребята, и, как ни странно, Кулешов тоже, пусть по-своему, но ведь не о себе же. С легкостью он переходил от уныния к радости, умел “всякую гадость приспособить под радость”, как говорилось в стихах, зачитанных на Алешиной свадьбе.

Свадьбу справляли дома, в Алешиной комнатке. Картос и Джо впервые попали в ленинградскую коммунальную квартиру. С любопытством разглядывали черные коробки электросчетчиков в прихожей. Звонки на входной двери. Расписание уборки. Кухню, заставленную столиками. Велосипеды, подвешенные на крюках, двери, двери, длинный коридор, главный проспект квартиры, по которому носились детишки, бродили старухи.

Свадебный стол был уставлен кастрюлями с винегретом, была селедка, грибы, принесли таз горячей картошки, было много водки и домодельной браги. Все было вкусно, произносили смешные тосты, кричали “горько”. Эн сказала Андреа: “Жаль, что у нас не было свадьбы”. Ее свадьба с Бобом свелась к венчанию в церкви, торопливому ужину, где были только родители, — и сразу в отъезд. Эн подарила невесте французские духи. Это была рослая красавица с толстой рыжеватой косой и множеством веснушек. Невеста тут же открыла флакон, заахала от удовольствия, облила женщин, каждую щедро надушила, так, что почти все израсходовала.

Много пели песен шуточных и своего сочинения — про колорадского жука, про колхозы, про моржей. Никто не напился, если не считать Марка Шмидта, который подсел к Джо и заплакал над загубленной “крохой”: “Столько выдумки... такой бриллиант, мать их перемать... сволочи... миллионы им не нужны... бездарная система...”

Виктор Мошков высмеял его, потом отвел в сторонку, взял за грудки: “Заткни свой фонтан, ты ведешь себя как провокатор. Не смей расстраивать нашего эфиопа. Он больше тебя потерял”.

Эн разговаривала с Алешиной матерью. Это была маленькая женщина в безвкусном пестром жакете, мелко завитые волосы пылали оранжевым цветом. Когда-то красивое лицо ее портили металлические зубы. Смешливые глаза присматривались к Эн с любопытством. Раньше она работала почтальоном, недавно стала начальником почтового отделения. Она показала Эн семейные фотографии — с мужем, с новорожденным Алешей. Там была одна блокадная — Алеша тоненький, на костылях, и она тоже с палочкой на мокрой весенней улице 1942 года. Старик и старушка. Позади разбитый снарядом дом, этот самый, в котором они сейчас живут. Всю блокаду здесь провели. В тот день, когда мужа убили на фронте, к ним сюда осколок влетел от бомбы.

— Почему же вы не переехали? — спросила Эн.

— Куда?

Она махнула рукой и стала рассказывать, как здесь, в этой же комнате, она справляла свою свадьбу, здесь родился Алеша, здесь вырос.

— Но теперь-то молодые уедут, — сказала Эн.

— Куда?

— Не можете ведь вы в одной комнате.

Мать Алеши рассмеялась, допила свою рюмку водки.

— Очень даже можем, поставим перегородочку и будем жить. У нас в коммуналке было шесть комнат, стало десять. Размножаются и делятся. Во время блокады мы все в одну комнату сбились...

Она стала снова рассказывать про блокаду, как они болели цингой, пили хвойный отвар.

— Вот почему у вас такие зубы, — простодушно сказала Эн.

Мать Алеши покраснела, зло прищурилась.

— Некрасиво? Вам тут многое у нас некрасивым кажется.

— Нет, почему же, — спокойно сказала Эн.— Вы мужественные люди, раз вы могли это перенести...

— Война, это что... Мы и сейчас переносим. Пойдемте.

Она крепко взяла Эн за руку, вывела из комнаты, повела по коридору, который сворачивал в полутьму с желтым пятнышком лампочки наверху. Двери, ящики у стен, ободранные обои, висели лыжи, лежали связки книг. Где-то за дверьми плакал ребенок, вопило радио. Эн споткнулась о какой-то сундук.

— Извините, — сказала Алешина мать,— я давно сюда не ходила.

Она снова взяла Эн за руку, повернула обратно в тупичок к желтой облупленной двери, перед которой стоял седой мужчина в роговых очках, с газетой в руках.

— Поздравляю вас, Нина Михайловна, со свадьбой. А это ваша гостья? — Он внимательно оглядел Эн. — Со стороны невесты будете?

— Нет, нас Алексей Алексеевич пригласил, — сказала Эн.

— Вы, извините, из каких краев? Не из Латвии, случайно?

— Очень ты любопытен, Свистунов, — сказала мать Алеши.

Дверь открылась, из уборной вышла пышная женщина, на ходу поправляя юбку. В прямоугольнике света стоял не остывающий унитаз, раздавалось

урчание воды.

— Пожалуйста, уступаю вашей гостье, — сказал Свистунов, любезно кланяясь.

Мать Алеши подтолкнула ее.

— Давай, пользуйся случаем.

За дверью было слышно, как Свистунов говорил:

— Вы объясните ей, Нина Михайловна, что у нас второй туалет на ремонте.

— И ванная тоже на ремонте третий год, — сказала Нина Михайловна.

Она повела ее на кухню к раковине руки помыть. Женщины оценивающе оглядели ее черные туфельки, шерстяное платье, черное с белым, часики крохотные, вроде бы ничего особенного, но определили безошибочно — не наша, иностранка. Дело было не в наряде, наряд скромный, все сидело на ней по-иному, и держалась она по-другому, точной приметой тут нет, видно, когда человека не заботит, куда руки девать, как повернуться, никакого смущения, улыбается всем будто подругам своим.

В коридоре Нина Михайловна хихикнула:

— Теперь мне достанется.

— За что?

— За разглашение секретов.

— Каких секретов?

— Потому что коммуналка есть самый секретный в нашей стране объект. Вашего брата иностранца возят иногда на военные корабли, в атомные институты разрешают, но в коммунальные квартиры ни ногой. Их запрещено в кинокартинах показывать, в романах описывать. Я, можно сказать, выдала государственную тайну, — торжественно произнесла она.

— Почему вы это делаете? — вдруг спросила Эн.

— Чтобы вы знали, что такое коммуналка. В коммуналках большинство живет. По всей стране. Плечом к плечу. Теснее некуда... Без разницы возрастов, положений. Вот этот Свистунов — доцент, а рядом с ним проститутка, следующие две сестры, старые девы, — дворянки, рядом с ними летчик, у которого сын карманник. Все про всех известно. У кого что в кастрюле, что в постелях творится, у кого понос, у кого триппер. — Она разошлась так, что Эн стала плохо понимать ее хмельную скороговорку. — Коммуналка — это же модель общества, как считает Алешка, орудие диктатуры. Поддерживает порядок. Никаких заговоров, никакой оппозиции. А то, что скандалы и драки, это нормально. Зато всегда в боевой форме. Человек из коммуналки! Стукачи, матерщинники, психи... Дети все видят. Я

Алешку спасала как могла.

— Ужасно, я понятия не имела, — сказала Эн.

— Не нравится? — обрадовалась Нина Михайловна.

— Но у вас квартиры дают бесплатно, всюду строят.

— Дают. Только не нам. Теперь две семьи, поставят на очередь. Лет через десять дойдет.

Эн недоверчиво уставилась на нее:

— Десять лет — это же вся ваша жизнь пройдет.

— Уже прошла. Среди этих. — Она ткнула пятерней в сторону черных электросчетчиков полутемного коридора, загроможденной передней. — Тридцать лет! Вкалывала как проклятая — и что? Комнату единственному сыну освободить не могу. — Она зашептала на ухо Эн горячим дыханием: — Надоело. Своя нищая жизнь надоела! Я себе надоела! А знаешь, зачем я тебе показывала? Чтобы ты мужу сказала, когда квартиры будут давать, чтобы Алешке дал. А мне не стыдно, если честно заработать нельзя. Будь она проклята, такая жизнь.

Она стиснула кулаки, глаза ее горели, лицо дергалось; дверь, возле которой они стояли, скрипнула, приоткрылась, Нина Михайловна яростно прихлопнула ее плечом.

— Успокойтесь, пожалуйста. — Эн обняла ее, прижала к себе, и Нина Михайловна обмякла, беззвучно заплакала. — Я скажу мужу, я понимаю, я ему все расскажу, — приговаривала Эн.

Нина Михайловна достала платок, высморкалась, вытерла лицо.

— Ничего, потерпим... Поставим перегородку. У меня будет проходная комната. Главное, я Алешку сберегла в блокаду, он вырос хорошим мальчиком, остальное ерунда. Подумаешь, коммуналка, войну пережили... — Она встряхнула огненно-оранжевыми кудряшками.

— У вас тут все про войну вспоминают, уже столько лет прошло.

Мать Алеши смерила ее взглядом, значение которого Эн не сразу понял.

— Ты всегда такая спокойная?..

Спросила про умершего ребеночка, расспрашивала, не стесняясь, о том, о чем все избегали упоминать, спросила, как же теперь Эн живет пустовкой бездетной, чем душа занята.

— Любовника тебе завести надо, — посоветовала она.

Когда они вернулись, в комнате стулья были сдвинуты, и в тесноте, танцую,

толпилось несколько пар. Эн сразу же пригласил Виктор Мошков, повел ее, церемонно держа двумя пальцами, как будто держал бокал. И другие сотрудники танцевали с ней иначе, чем с другими женщинами, держась на расстоянии. Никакого удовольствия от этих танцев она не получала. Она была женой их шефа, обожаемого руководителя, будь на ее месте мымра, они обращались бы с ней с той же опасливой бережливостью, ничего она в них не возбуждала.

Она выпила. Увиденное в этой квартире все больше расстраивало ее. Никак не укладывалось в голове. Ее стали просвещать: “Потому что все мы, как заявил Мошков, вышли из этой школы коммунизма”. При чем тут коммунизм? — спросила Эн. При том, объяснили ей, что здесь формируется человек будущего, умеющий бороться за свое существование на минимальном жизненном пространстве, отступить ему некогда, маневрировать тоже. Коммуналка создает особый тип всеобщего человека, все выдающееся подстригается, выравнивается. Жизнь его прозрачна, на работе он на людях и дома на людях, одиночества у него не бывает, а если ему случается остаться одному, он места себе не находит.

— Сформирован новый тип человека, — заявил Мошков, — коммунальный. Хомо коммо — следующая высшая ступень по сравнению с хомо советикус. Хомо коммо не интересуется ни политикой, ни строительством коммунизма, что для коммунизма весьма ценно, коммунальный человек весь поглощен борьбой с соседями...

Эн заметила, как Андреа недовольно покачал головой, затем взял со стены гитару, стал тихонько ее настраивать. Все примолкли. Первый раз видели в его руках гитару. Гитара была дешевенькая, старая. Андреа хмурился, прилаживаясь к ней, потом поставил ногу на табуретку, взял несколько аккордов, черные глаза его устремились куда-то в невидимую точку, которая была далеко, за пределами этой комнаты.

Голос его зазвучал незнакомо. Пел он по-английски, надтреснутым пьяным голосом. Песня была военная, американских солдат. Лицом он не подыгрывал, оно оставалось бесстрастным, и таким же оно осталось, когда он запел мексиканскую любовную. Мужская нежность не вязалась с его холодным взглядом, но подружки невесты смотрели на Андреа завороченно, в их глазах разгорался знакомый Эн огонек, это случалось и в Мексике, когда после его песен девицы ходили за ним, не стесняясь жены, трогали его, гладили, становились, как говорила Эн, сексуально агрессивными, так действовал на них его голос. Эн относилась к этому со смешком.

Никто из сотрудников не ожидал, что их шеф поет, и поет профессионально. Сперва это показалось неприличным, как если бы на сцену с гитарой вышел Хрущев. После третьей песни они принялись аплодировать. Он взглянул на них недоуменно. Он пел как бы для себя, публика его не интересовала, ему хотелось что-то вспомнить, голос его доносился из прерий, потом, когда он запел по-гречески, пахнуло Адриатикой, жаром узких улочек, стиснутых нагретым мрамором домов, позади вставали выжженные солнцем холмы, где пировали боги Олимпа, земля, коричневая, как греческие амфоры, серые олики, оливы... Отсюда, с холодной, сумрачной Петроградской стороны,

Адриатика казалась ярко-синей, счастливо-теплой, играла музыка в портовых кабаках, крутилась рулетка, где-то существовали другие великие города, кроме Москвы и Ленинграда, с пляской рекламных огней, с потоком разноцветных машин, с роскошными женщинами, ковбоями, винными погребами, огромный, неведомый им мир медленно вращался перед ними. Было грустно оттого, что никогда не придется увидеть эти страны, все это не для них, никто из них никогда не выезжал за границу и вряд ли поедет.

Эн почувствовала их грусть, пение Андреа перестало ей нравиться. Впервые она слушала его отчужденно. Поза его показалась манерной, и то, что он не позволял им аплодировать, тоже было неприятно, в сущности, мнение их было ему безразлично. Его испанский, греческий, английский — щегольство, он не чувствует, как он выглядит среди этих ребят, в этой ужасной коммунальной квартире. Он ничего этого не заметил — ни их безнадежной зависти, ни своего успеха.

XX

В одно из воскресений Джо пригласил Эн на открытие выставки в Русском музее. Андреа был в командировке, и Джо полагалось опекать Эн. Выставки, литературные вечера были в то время местами яростных споров. Джо, так же как и Андреа, мало что понимал в живописи. Однако он считал, что живопись — это первое, с чего начинает человек, читать еще не умеет, а рисует, изображает мир, каким его видит, не искажая его умением и правилами рисования. Примерно об этом ораторствовал он посреди зала, привлекая к себе внимание громовым голосом, несоразмерными жестами и акцентом. Он не признавал никакой эстетики, его замечания о картинах были чудовищны, он не мог отличить Рембрандта от Рубенса, и тем не менее его слушали с удовольствием. С пылом проповедника он доказывал, что все они — мальчики и девочки, пенсионеры, отставники, приезжие провинциалы, — все они могут разбираться в живописи, оценивать картины лучше искусствоведов, чем наивнее, тем вернее. Эн потешалась над их легковерием, потом ей стало стыдно и за них и за чушь, которую нес Джо. Когда-то в Нью-Йоркском университете она слушала лекции об условности в искусстве, и профессор, разбирая картины Модильяни, признавался, что не может до конца понять, раскрыть секрет выразительности этих неестественно вытянутых лиц, непрописанных глаз. Он учил добираться до тайны великих художников, до непонятного. Разбирается в искусстве тот, кто начинает что-то не понимать, повторял старик, и Эн это усвоила.

Слушать Джо было тягостно, Эн отошла в сторону. Выставка ленинградских художников показалась ей робкой и устарелой. Кто-то смотрел на нее. Она почувствовала спиной пристальный взгляд, обернулась. Мужчина, совершенно незнакомый, смотрел на нее с безграничным изумлением. Эн нахмурилась, перешла в соседний зал. Мужчина отправился за ней, он шел за ней как привязанный. Она остановилась у какой-то гравюры, он тоже остановился поодаль, вдруг что-то решил, подошел к ней и, странно посмеиваясь, извинился.

— Дело в том, что вы похожи на один портрет.

— Ну и что? — резко сказала Эн.

— Видите ли, портрет этот написан был мной несколько лет назад.

— Вы что, художник?

— Да.

Она посмотрела на него успокоенно и ответила улыбкой.

— Может, я была у вас натурщицей.

— Тогда бы вы меня помнили. Нет, я писал просто так. И потом, в натурщицы вы не годитесь.

— Это почему?

Он расхохотался.

— Ключули? Ни одна женщина не может удержаться от такого вопроса.

Он был рослый, плечистый, с открытым грубоватым лицом, пегие курчавые волосы делали его похожим на большого пса.

— А в натурщицы вы не годитесь потому, что вы личность.

— Это что у вас, способ знакомиться?

Ему было лет за сорок, на висках проблескивала седина, на нем была потертая кожаная куртка, хлопчатобумажные штаны с пузырями на коленях, фланелевая рубашка.

— Нет, у меня есть более простые способы.

На нее смотрели нахальные глаза, слишком молодые и слишком яркие, глаза не от этого добродушного, простецкого лица. Он снова оглядел ее.

— Все же это похоже на чудо.

— Что?

— Этот портрет... Я хочу вам показать. Приходите в мастерскую сегодня вечером.

— Как у вас быстро.

— Вы что, из Прибалтики?

Эн неопределенно пожала плечами.

— Этот тип там ораторствует — вы с ним?

Она кивнула.

— Это ваш муж?

— Нет.

— Слава богу! Интересно, как это могло случиться — с вашим портретом. Жаль, если вы не придете. — Он продолжал разглядывать ее и удивляться. — А может быть, я ошибаюсь, — сказал он. — Вы по сравнению с ней рациональны... Как все прибалты, — добавил он.

Нахальный смешок взблескивал и исчезал в его светлых глазах, так что Эн не успевала обидеться. Она старалась держаться тоже иронично.

— Значит, я должна прийти к вам в мастерскую. Если не приду, значит, я рациональна...

— О господи! Это же всего лишь портрет, поясной.

— По пояс, да? Значит, вы будете сравнивать по пояс? Это, конечно, легче.

— Поскольку вы так не уверены в себе, можете прийти с вашим другом, с мужем, с милицией. В любой день.

Он показал ей, где его найти. Это было тут же, в запаснике. Маленькая белая дверь без вывески. Сбоку незаметная кнопка. Нажать три раза, спросить Валерия Петровича. Лучше к концу рабочего дня, часов в пять. Его мастерская неподалеку, через канал.

— Только не откладывайте, — предупредил он. — Я могу исчезнуть.

— Как это исчезнуть?

— Как сон, как утренний туман... Меня грозятся выгнать отсюда.

— Тогда другое дело.

Он ответил ей взглядом, значение которого она не поняла, но который убедил ее, что это не шутка. В течение нескольких дней она припоминала предупреждения учтивых майоров в штатском, рассказы о ловушках. Но в среду, выйдя из Дома книги, решительно свернула к Русскому музею. Она была стопроцентной американкой и знала, что чудес не бывает, что все кончится обманом, разочарованием, в лучшем случае какой-то ерундой, глупостью.

Позвонила трижды. Дверь открыл ей сам Валерий Петрович. Увидев, что она одна, усмехнулся. Был он в синем длинном халате, в заношенной кепке. Повел через длинный полутемный зал. Под тусклой целлофановой пленкой рядами стояли бюсты вождей. Больше всего было бюстов Сталина. Валерий Петрович объяснил, что здесь запасник современного искусства, что ей повезло, никого сейчас нет, начальство на ученом совете, и можно взглянуть на картины художников, которые не выставляются. По правилам доступ

сюда закрыт. Для запасника надо получать пропуск в Москве, в Министерстве культуры, чуть ли не у самого министра. Потому что хранятся тут картины идеологически вредные, для простых людей крайне опасные. Никто не должен их видеть. Валерий Петрович советовал использовать счастливый случай. Опять было непонятно, шутит он или всерьез, как могут быть картины опасными.

— Вы что, здесь работаете?

— Да, нечто среднее между чернорабочим и помощником хранителя. Надо иметь какой-то постоянный заработок.

Стеллажи до потолка, в несколько этажей, плотно заставленные картинами. Окна в решетках.

— Тюрьма, — сказал Валерий Петрович. — Похоже?.. И нары, брат, и нары! — пропел он.

Сотни картин, может, тысячи.

Он усадил ее в кресло, плащ просил не снимать, если придут, скажет, что она только что пришла за ним, она, извините, — он театрально раскланялся — натурщица, словом, шуры-муры, это у нас поймут, простят, потому что шуры-муры есть у всех.

Стоит ли рисковать, сказала Эн, тем более что советская живопись ее не интересовала. Стоит, стоит, немного даже обиженно заверял он. Полотна, которые он ставил перед ней, были и впрямь хороши. Но она готовилась к другому, сюда можно будет прийти в другой раз, считала она. Впоследствии она часто жалела, что была так нетерпелива. Другого раза не было, его никогда не бывает, другого раза, все бывает только один раз, пора бы научиться, что к этому разу надо относиться как к единственному и последнему. И Валерий Петрович был в ударе, сам откровенно восхищался полотнами, любовался ими, словно драгоценными камнями, игрой их красок, ходил большой и легкий, словно бы позабыв об Эн. Кто-то второй в нем перебивал смешком, и этот второй не упускал случая как бы невзначай положить ей руку на плечо, тронуть ее.

— Чего ж тут секретного, — сказала Эн, невольно любуясь огненно-красными креслами, пылающими на черно-синем фоне картины.

— Вот именно! — ликуя, восклицал Валерий Петрович, и Эн вспомнила Алешину маму и очередь в уборную. Та государственная тайна была хоть как-то понятна, но эти самовары или приклеенная к холсту папиросная коробка — в них-то какая опасность? — Вам смешно, — сказал Валерий Петрович. — Здоровая реакция нормального человека. Хотя большинство людей находят оправдания. Лучшие наши художники захоронены здесь. Перед вами трагедия огромного искусства. Представляете, если бы итальянское Возрождение было запрещено и папа Лев Десятый запретил Рафаэля, Боттичелли, Микеланджело, Леонардо, упрятал бы их в подземелье на века, так, чтобы мы понятия о них не имели!

Эн посмотрела на свои часики.

— Извините, — сказал Валерий Петрович и стал снимать халат.

Его мастерская помещалась неподалеку, на последнем этаже шестиэтажного старого петербургского дома. Все показалось Эн необычным: переходы по застекленным галереям, парадная с мраморным фигурным камином, выложенный плитками пол, остатки цветных витражей на лестничных окнах. Вечерний желтый свет, проходя сквозь них, распадался на толстые цветные лучи. Лифт не работал. Сквозь стеклянные дверцы видна была cabina красного дерева. На одном из подоконников две старушки играли в карты.

Небольшой портрет в простенькой черной рамке стоял на полу у мольберта. Молодая женщина в платье вишневого бархата со стоячим воротником, отороченным белыми кружевами. Изображение как бы запылилось, не хватало света, и что-то там, в глубине картины, поблескивало. Эн не сразу поняла, что художник написал зеркало, старое, помутневшее от времени зеркало, в котором отражалась стоящая перед ним женщина. Местами облетела амальгама, отсюда и происходил блеск попорченного местами зеркала. По плечу женщины полз большой жук-олень. Женщина зачарованно смотрела на его отливающий изумрудом панцирь и грозно устремленные к ней рога. Чем-то она была похожа на Эн, помоложе, помягче, глаза темнее, хотя Эн никогда в точности не могла определить свой цвет, он менялся у нее. Так что поначалу она была даже разочарована. Чуда не состоялось. Что-то она съязвила по этому поводу, Валерий Петрович не ответил, он разглядывал обеих женщин, ее и ту, все с большим удовлетворением. Он не слышал Эн и не обращал внимания на нее. Перед ним была модель, с каждой минутой сходство увеличивалось, она стала узнавать себя, свой поворот, свое выражение, то, что таилось в припухлостях по краям губ, в уголках глаз, это была она, Эн. Впервые она видела себя на портрете. Там было и то, чего она не знала в себе, что не подсмотреть в зеркале, из зеркала на нее всегда смотрела женщина, которую никак не удавалось застать врасплох.

Почему-то ей в голову не пришло, что Валерий Петрович мог написать портрет за эти дни, по памяти. Может, потому, что по краям и на рамке лежал слой пыли. Конечно, и это можно подделать, художники это умеют. Но она не сомневалась, что портрет написан давно. Валерий Петрович смотрел не на портрет, а на нее, любуясь своей находкой. Она не сразу заметила, что он обнял ее. Она отвела его руки, спросила:

— А жук зачем?

Валерий Петрович удрученно покачал головой, не ответил. Он повернул портрет, на заднике черным было написано: “Женщина с рогатиной. 1954 г.”.

— Как давно, — сказал он.

— С кого вы ее писали?

— Это была женщина моей мечты.

— Была? — невольно спросила она, и он усмехнулся.

— Я думал, что избавился, но теперь, оказывается, вы существуете, вот в чем чудо-юдо. В натуре вы богаче. У нее разве грудки, у вас они хорошо торчат, интересно, как бы вы на жука смотрели. Впрочем, писать с натуры не люблю, в натуре мне трудно найти загадку.

Разговаривая, он как бы рассеянно, как бы невзначай то брал ее за руки, то трогал ее колено и непонимающе скидывался, если она отстранялась.

Мастерская имела длинное окно, в окне виднелись зеленые и красные крыши, подсвеченные закатным солнцем. Она стояла, смотрела на них. Валерий Петрович подошел сзади, положил ей руки на плечи.

Прикосновения его были приятны. Она не противилась и не помогала. Она как бы наблюдала за собою со стороны с некоторым любопытством к себе и к нему. Что-то Валерий Петрович продолжал говорить, уже волнуясь, о загадках жизни, в которые не стоит вдумываться, потому что существование человека необъяснимо... У него была фраза про Адама и Еву, которые не любили друг друга, пока не согрешили... Она очнулась оттого, что он взялся за “молнию” на юбке.

— Это зачем? — услышала она свой спокойный голос.

— Впервые слышу такой вопрос. — Он не удержался от своего обычного смешка.

— Поэтому и не можете ответить.

— Могу... Разве он вам нужен? Будем считать, что вы победили, хотя победитель не получает ничего.

Она поправила “молнию”, привела себя в порядок и попросила продать этот портрет.

— Вы мне отказали, — сказал Валерий Петрович, — я вам тоже отказываю.

Потом на кухоньке они пили чай с пряниками и брусничным вареньем. Ни того, ни другого Эн никогда не пробовала.

— Надо будет вас свозить за брусникой. На Карельский перешеек.

На Карельском она тоже не была. И на Ладогe не была. И в Кижях не была.

— Целая программа.

— У меня большие планы насчет вас.

Он проводил ее до метро, прощаясь, попросил телефон, она, не подумав, назвала номер, но когда он переспросил, сказала, что звонить ей не следует,

да он и не побеспокоился узнать, как ее звать. Он хмыкнул и сказал, что она тоже хороша, не попросила показать другие его работы. Кажется, он был всерьез обижен. Впрочем, о нем нельзя было сказать ничего наверняка. Он мог глазами раздевать ее, оглядывать подробности ее тела и при этом учтиво рассуждать о живописи Пикассо, мог, стоя к ней спиной и заваривая чай, говорить о ее бедрах так, что она начинала ощущать их. Он чересчур много позволял себе, и она не мешала ему вести двусмысленную неприличную игру.

Она ничего не рассказала ни Джо, ни Андреа, вряд ли они приняли бы все это всерьез. Наверняка упростили бы эту историю, а как раз этого ей не хотелось.

Словно нарочно кто-то подсовывал совпадения, не давая забыть о происшедшем. В комиссионном магазине она увидела отрез вишневого бархата. Слишком плотный, скорее для портьер, она не удержалась, купила, решив сшить себе халат. Не платье, так по крайней мере халат и чтобы со стоячим воротником. Она любила стоячие воротники, странно, что и у той особы был стоячий воротник. Вдруг она нашла у Андреа на столе том энциклопедии, раскрыв, наткнулась на красочные таблицы жуков, среди них сразу ей бросился в глаза тот самый жук с оленьими рогами, по-латыни он назывался *Lucanus cervus*. Почему том оказался именно на эту букву, почему она раскрыла именно на этой таблице?

На рынке продавали бруснику. Гладкие румяные ягоды лежали большой кучей. Эн долго стояла, задумчиво перебирала их. Напоминания были слишком назойливы. Ей пришло в голову, что с портретом несомненно ее разыграли. Неизвестно, художник ли он, его ли эта картина, она не видела других его вещей. Когда через неделю он позвонил, она обрадовалась. Они гуляли по Михайловскому саду, потом по Летнему. В тот день она увидела его работы. В них было несоответствие облику Валерия Петровича, шутливого, чуть циничного, любителя женщин и любителя удовольствий, словом, вполне земного, практичного. Первая же картина поразила ее: вставленный в раму как бы кусок стены, обклеенный выцветшими грязноватыми обоями. Посредине свежий прямоугольник с розоватыми чистенькими полосками, увитыми мохнатыми стеблями, и дырка от гвоздя, на котором, очевидно, висела картина. Какая-то картина, которая сохранила часть обоев, и они теперь стали картиной. Было еще нечто похожее: песчаный пляж, спокойное холодное море прилегло на ровный плотный песок, и на нем, на песке, выделялся четкий след одной босой ноги. И кругом ничего, ни малейшего отпечатка. След, который никуда не вел.

— Ангел, — неожиданно определила Эн.

Брови Валерия Петровича недоуменно поднялись, видно было, как слово это медленно пробивается к нему, и вдруг он просиял, наклонился к Эн и чмокнул ее в щеку.

— Как вам пришло на ум? Потому что вы сами ангел. — Он восхищенно оглядел ее как-то по-новому, но тот, другой, что сидел в нем, перебил: — Нет, ангел существо бесполое, скорее всего среднего рода, что вам никак не

подходит. Но вы, как ангел, коснетесь меня ножкой и улетите...

Мотив пляжа повторялся. На бескрайнем пустом пляже стояла черная ученическая парта, за ней лицом к морю сидел школьник. На следующем пляже, уже горячем, раскаленном от летнего солнца, лежал одетый в черный парадный костюм, с галстуком, в начищенных ботинках человек и смотрел в небо.

Раздался звонок в дверь, и сразу застучали кулаком. Валерий Петрович пошел открывать, вернулся со своим приятелем, лохматым, высоким, тонким, со шляпой на макушке. Приятеля звали Кирилл, Кирюша, как представился он Эн, целуя ей руку. От него разлило вином, он старался держаться прямо, но иногда сгибался так, что казалось — сломается.

— Красавица, простите меня, вы — красавица, — объявил он Эн. — Валера, ее надо писать и писать. Причем не нагую. Руки, смотри, какие руки! — Он поднял ее руку. — Без всяких колечек, понимает, бестия, такую руку не надо украшать. Ну скажи, Валера, почему мы должны писать доярок, ткачих, а не женщин? Ты-то устроился.

Расставленные на полу картины вызвали у него слезливую гордость:

— Поэтому его и не выставляют. Чернорабочий. Насмешка. И оттуда тебя скоро попрут. Разве тебе можно доверять крамольников сторожить? Извините, как вас звать? Валера, представь мне свою даму. Кто такая?

— Между прочим, я и сам не знаю вашего имени, — сказал Валерий Петрович.

— Зовите меня Эн.

— Эн! — произнес Кирюша торжественно. — Некая Эн. Икс. Без подробностей. Энннн, звенит! Эн, вы небось иностранка. Покупайте Валеру, пользуйтесь его бедственным положением, великий художник. Валера, ты показывал ей свои сказки? Немедленно! Вы понимаете в живописи? Ты, мужик, зачем ее сюда привел? Употребить или продать ей? Употребить потом, сейчас тащи, давай сюда вертушки. Ты что, стесняешься?

— Уймись, — сказал Валерий Петрович. — Иначе я тебя выкину.

Сам Кирюша зарабатывал тем, что писал бесконечные портреты членов Политбюро и дописался до того, что на иллюстрациях к Толстому у него получались те же физиономии.

— Представляете, смотрю, Каренин у меня почему-то получается морда, а это Кириленко! Ужас! Слушай, я ведь к тебе по делу.

Заключалось его дело в том, что приятели его, чешские художники, задумали сделать монографию о советском авангарде, художниках революции. У них есть разрешение снять в запаснике Петрова-Водкина, разрешение из Москвы, по всей форме, под это дело он, Кирюша, уговорил их заснять и других художников — Филонова, например, Малевича, Фалька.

Без ведома хранителя. Допустим, Валера выйдет по нужде, они чик-чик — и готово. Уговорил их запросто. Теперь он уговаривал Валеру. Тот не поддавался. Патриотизм проявлял. Кирюша умолял — такой случай, в цвете издадут, для всего мира открытие будет. Узнают, какая у нас могучая живопись. Европа ахнет, XX век наш! Наше первенство. На это Валерий Петрович ухмылялся — они узнают, что у нас художественный ГУЛАГ устроен. Опозорят нас.

— Больше опозорить нас, чем Хрущев, невозможно! — орал Кирюша. — Накинулся на лучших художников. Нашел кого топтать. Самого Неизвестного! Главный враг наш!

Валера соглашался, но добавлять позора не хотел. И потом, боялся, что после этого вообще такой шухер наведут, никого на выстрел не подпустят к хранилищу.

— Он просто трусит, — Кирюша обратился к Эн, — за свое место боится. Ну выгонят его, подумаешь. Зато совершит великое дело. Побег устроит, выпустит на волю этих бедолаг. Уговорите его, Эн, что вам стоит, сослужите службу! Эх, я бы на вашем месте живо его скрутил... Отдался бы — и он готов.

Судя по всему, Эн забавляли эти выпады. Появилась бутылка водки, мужчины выпили прямо из стаканов, Эн тоже сделала вид, что пьет, она уже усвоила, что в России нельзя отказываться от водки, надо чокаться со всеми, морщиться, закусывать, пить необязательно.

— Его все равно скоро выгонят, — убеждал Кирюша. — Бесславно прогонят.

Валерий Петрович от водки пришел в покаянное настроение, появилось в нем что-то трогательно-щенячье-доверчивое.

— Какой же я охранник, я укрыватель, — жаловался он Эн. — Мы прячем картины прежде всего от начальства. Нет, прежде всего от художников-стукачей. Они доносят начальству. Приезжал в Эрмитаж Серов, пошел в залы импрессионистов, потребовал, чтобы сняли и их. Взял рабочих-передовиков с собой. Они высший авторитет. Им приятно запрещать: импрессионисты — антинародное искусство. Такие вполне могут наши запасники потребовать распродать. При Сталине — продавали, Хрущева тоже уговорят.

Эн прошлась по мастерской, проговорила с вызовом:

— По-моему, Сталин правильно делал, что продавал картины. Это лучше, чем их прятать. Там, за границей, на них будут люди смотреть.

— Такого я еще не слышал, — сказал Валерий Петрович. — Постороннее мышление... Потому что вы не русская, для вас искусство космополитично.

— Ну конечно, лучше пусть лежит в сундуках, никто не видит, зато мы патриоты. Какие вы патриоты, если никто за границей про русских

художников не знает. Ни в одном музее Нью-Йорка вы не найдете ничего русского.

— А вы откуда знаете?

— Я?.. Я была там!

Взгляд его ткнулся в нее и словно расшибся, но жаркая волна несогласия несла его, не давая остановиться, впервые Эн удалось зацепить его.

Они схватились в споре, не заметив, что Кирюша застонал, его вырвало прямо на пол. Пришлось уложить его на диван. Эн стащила с него ботинки, принесла воды.

— Почему ему все? — рыдал Кирюша. — И талант и вы, этот сукин сын еще хочет выглядеть порядочным. Что я скажу чехам, Эн? Уговорите его. О господи, как меня мутит, это из-за тебя, Валерка. — И он уныло матерился.

Валерий Петрович отсылал ее домой, она не ушла, пока не подмыла пол. Открыла окно, обтерла потного Кирюшу. Делала она все это ловко, быстро, уверяла Валерия Петровича, что без всякого отвращения, дело житейское, и, шагая по улице, она улыбалась и дома продолжала работать, готовить ужин с той же летучей улыбкой.

XXI

Теплоход вышел на простор Ладоги. Волны не было, вечернее озеро лежало спокойное, до самого горизонта зеркально-гладкое.

Редчайший случай, как сообщил по радио голос гида. Тьма никак не наступала. От воды шел свет молочно-сизый, мелкие облака отражались на водной равнине как серебристые льдины, и теплоход надвигался на эти льдины, ломая их, а они снова всплывали. Ничего нельзя было сделать и с отражением бледной луны. Вода была прозрачна, чистое ее дыхание заполняло все пространство. Вода пахла водой, ничем другим, и это было хорошо, потому что запах чистой воды никогда не надоедает. Так же как вкус хлеба, как вид неба. Воздух продувал Эн насквозь, проходил через поры ее тела. Ее куда-то несло, она послушно отдавалась потоку, стараясь ни о чем не думать. Зачем она поехала? Сказала, чтобы узнать тайну портрета. Посмотреть Валаам, Кижы и вызнать про портрет. Причина достаточная. Ничего другого она не имела в виду. То, что произошло потом, было случайностью. Кому-то она объясняла свои поступки, приводила причины, оправдания, и этот кто-то пока что не возражал.

Прекрасно было это бледное небо, белая вода, дальний берег, отороченный черно-зеленым лесом. Тишина, прочный покой. Она радовалась тому, что может воспринимать эту красоту, в которой не было прошлого, не было будущего, была лишь огромность настоящего, которой люди пренебрегали.

Несколько парочек стояли вдоль борта на палубе, любуясь светлой ночью. Эн вдруг увидела среди них любовников. Их можно было узнать по тому, как они оглядывались, старались уединиться, счастливо вполголоса

говорили. Неподалеку от нее у трапа жались друг к другу немолодая пара. Наконец-то они могли побыть вдвоем, не урывками, а несколько дней и ночей насладиться своей тайной любовью. Эн благословляла их, так же как тесную свою каюту, пропахшую табаком, невкусный ужин в ресторане, бедный буфет, — все открывалось ей как дар незаслуженный.

В каюте было тепло. На ее койке по-прежнему спал Валера. Курчавая голова его свесилась, голые ноги в темных волосах торчали из-под простыни. Лоб его разгладился, рот был полуоткрыт, он вкусно посапывал. Эн сидела на откидном стульчике, разглядывая его влажное лицо, по которому пробегали смутные отблески сновидения.

Человек этот вдруг перестал быть чужим. Произошел не просто акт, как называл Валера, — произошло то, что в Библии называется “она познала его”. Она узнала его тело, его ласки, его мужскую плоть, но вместе с тем и что-то еще, часть его существа вошла в нее, это и было — познать.

Когда-то с ней случалось подобное... Валера был совсем другим, Андреа низкорослый, Валера большой, Андреа молчалив, этот разговорчив, она уже в курсе его работ и того, что творилось в запаснике, художническая музейная жизнь была ей понятна, интересна, то же, что делал Андреа, было и непонятно, и закрыто на замок.

...Они ушли в зеленые холмы Итаки. Андреа заснул прямо на горячей траве, она сидела перед ним, вот так же разглядывая его спящего, с поджатыми коленями. Но ведь и то было прекрасно, и тогда было счастье, зачем сравнивать, она была благодарна и за ту далекую, отдельную от этой жизнь. Эн верила в Бога, но тот, перед кем она оправдывалась, был не Господь Бог, а нечто такое, что, по ее представлению, следило за нею, укоряло за плохие мысли и поступки, грозило ей, к нему она обращалась перед сном, оправдываясь, давая обещания. И сейчас она доказывала, что все правильно, что она имеет право на это утешение после смерти мальчика, единственную милость, которую даровал случай, она благодарила судьбу за это новое чувство, удивляясь и не веря. Еще недавно, еще по дороге в порт, она испытывала любопытство к самой себе, наблюдала за собою, не видя никаких признаков волнения. Она не могла не понимать, для чего ее пригласил Валера в этот трехдневный рейс. Она шла на это, она была из тех женщин, которые выбирают сами. Валерий Петрович ей нравился, но что-то останавливало ее, какая-то его настороженность. Он не спросил ни разу, кто она, что у нее за семья, хорошо, что Кирюша спросил, как ее звать. Возможно, это была деликатность. Возможно, отстраненность таланта, занятого собой. Он всех вовлекал в свой мир, другие миры были ему чужды.

Эн имела превосходную зрительную память. Все картины Валерия, которые он показал, она запомнила, его несомненный талант был неудобен, его трудно было с кем-то сравнивать. Насчет гения Кирюша преувеличивал, в чем-то, однако, Валера был необычен. Ее последнее время окружали гениальные физики, гениальные математики. Проверить это было невозможно, через несколько лет некоторые оказывались посредственностями. Валерия Петровича она смогла оценить сама.

...Валера потянулся, открыл глаза. Эн смотрела в окно. Он сделал знак,

чтобы она не обращала на него внимания, торопливо оделся, выскользнул из каюты, вскоре вернулся с альбомом. Эн уже нырнула в постель, нагретую его телом. Он попросил ее снова встать у окна и сделать, как он сказал, лицо святой грешницы. Эн попробовала, но ничего не получилось, ей хотелось спать.

Наутро Валера сказал, что у него не выходит из головы вчерашнее ее лицо. То, что было до этого, он не вспоминал, как будто от всего вечера и ночи осталось только ее лицо. Он сделал несколько набросков, и все было не то. Ему не давал покоя сюжет покинутого рая. Валяется огрызок яблока, Адам и Ева уходят изгнанные. Адам в тоске, а Ева счастлива. Сюжет мог получиться и другой, ее ночное моление само по себе картина — женщина, которая благодарит Господа Бога за сладость совершенного греха. Его не интересовало, чему она на самом деле молилась, он ее ни о чем не спрашивал, ему достаточно было того, что он придумал.

Монастырь, церковь она осматривала рассеянно. Облизанные волной камни, огромные гранитные плиты спускались в прозрачную воду. Трава, кривые сосенки — все на острове выглядело диким, и цепкость этой небогатой северной природы, живущей не напоказ, скрытыми своими страстями, и скромные запахи ее и краски — все требовало пристальности. Глаз Валеры подмечал молодые сыроежки, рыжую россыпь лисичек, ягоду морошку, незнакомые Эн радости здешних мест.

Они провели на этом острове не три часа, а часть жизни, прекрасную пору их любви.

После обеда они сидели на палубе, Валера рассказывал про здешние места, про языческие предания о Перуне, который молнией прогоняет злых демонов, отворяет облачные скалы, потом перешел на судьбы художников двадцатых — тридцатых годов, их поиски, находки. Эн смотрела на его заросший черной щетиной подбородок, небритость шла ему, если бы они жили вдвоем на этом острове, он ходил бы с черной бородой, с длинными кудрями.

Она заметила, что он ждет ее оценок, согласия, одобрения. Она не привыкла к такой роли. Смешно было бы, если б Андреа советовался с ней о своих работах и замыслах. Ее мнение ничего для Андреа не могло значить. Без него она как бы ничего из себя не представляла. Она вдруг увидела себя со стороны за последние годы, с тех пор как они расстались с Винтером, как она из любовницы стала женой, или, как тут называют, домашней хозяйкой. Она вспомнила слова Винтера: “Как вы там будете? Он там найдет замену куда удобнее”.

С Валерой она неожиданно приобрела уверенность. Он считался с ней как с судьей, чуть ли не как со специалистом.

Иногда, следуя женскому инстинкту, она подкусывала его, это было в ее характере — немного подперчить отношения.

— Ты добиваешься, чтобы твоих заключенных выставили. Хорошо, их выставят — чем ты будешь обольщать своих посетительниц? Сейчас

любуются твоими выпадами. Ты борец. А тогда у тебя ничего не останется.

Он коротко хохотнул, сказал вызывающе:

— Ну, кое-что останется.

— Кое-что есть у всех.

— Я думал, что тебе понравилось.

— Для начала было неплохо, — сказала она холодно.

Она смотрела на бегущую волну. Джо говорил про женщин: “Они не понимают, что надо уступать, но не полностью, не на обе лопатки, огонь борьбы не должен гаснуть”.

— Ты был женат? — спросила она.

— Дважды.

Одна была искусствовед. Она тащила все время его на путь истинный. Рыдала над его картинами, заявляя, что они не способны поднимать массы на большие, благородные дела, обогащать их духовно. Вторая была радиожурналистка. Красавица. Ей нужна была веселая жизнь, банкеты, вернисажи, наряды, поездки за границу, все это получила у бывшего приятеля Валеры, благодаря ей он стал писать портреты жен начальства.

Рассказывал Валерий без злости, подтрунивая и над собой. Эн все больше нравилось его небрежное отношение к своей жизни. Впервые она сталкивалась с такой бесхозяйственностью. При всем его тщеславии он не умел пользоваться своим талантом. Он только писал и ничего другого не делал. У него не было ни одной выставки — почему?

— Да ты что! — изумился он. — В магазине-салоне меня несколько раз ставили на продажу и сразу снимали. Теперь начисто запретили. На годовые выставки уже десять лет не допускают. Меня никуда не допускают. Ты первая меня допустила.

Эн поморщилась и принялась потрошить его жизнь, установив, как она и предполагала, что продавать свои картины он не умел. Было несколько коллекционеров, которые ценили его, но больше кланчили, чем покупали. А иностранцы? Иностранцы приходят, они бы рады, так ведь жалко им продавать. Похоже, что они спекулировать будут. Он не скрывал, что побаивается с ними иметь дело, рано или поздно наступают неприятности. Для него продать за границу — все равно что бросить картину куда-то в бездну. Даже звук от падения не донесется.

В этой стране все боялись иностранцев, надо было терпеливо вразумлять того же Валеру, что за границей прекрасные ценители, знатоки живописи, что его картины, попадая туда, заживут новой жизнью то ли в частных галереях, то ли в богатых домах. Надо продавать и продавать. Со временем можно будет там собрать выставку его картин, появится каталог, возникнет

имя. Даже если он не уверен в себе, следует попробовать.

— В себе я, может, и не уверен, — сказал Валерий Петрович. — А в работах своих — уверен!

Она сказала, что тоже уверена, что надо действовать, что он ленив, апатичен, что надо утверждать свое искусство; чего он боится?

— Боюсь влюбиться в тебя, — необычайно серьезно отвечал он, блестя смеющимися глазами.

Эн не давала ему отшутиться. Она допытывалась, выпрашивала, не стесняясь быть назойливой. В конце концов, никого не может обидеть интерес к нему, к его делам и нуждам. Тем более что Валерий Петрович отвык от такого внимания. Он свыкся со своей безвестностью, отчасти даже гордился тем, что числится чернорабочим в музее, что его как бы скрывают, держат на полуполюгальном положении. Собственно, он даже не испытывал ущемленности, ему не мешали работать, писал что хотел, общался с такими же запрещенными, да еще с прошлыми мастерами авангарда, которые лежали в запаснике, они помогали ему держать форму, жалованья ему хватало на краски и для брюха... Она высмеивала его скромность: может, это робость, боязнь выйти на свет божий? О нем почти не слыхали, у кого она ни спрашивала, все пожимали плечами, зачем он избрал себе такую участь, его работы могут произвести сенсацию.

С каким-то неожиданным упорством она старалась прошибить его благодушие. Один раз ей удалось его растревожить, он признался, что с юности мечтал побывать в Италии. Русские художники всегда посещали Италию. Бродить по музеям Флоренции, Рима, видно, уж не придется. Опечаленно он окинул взглядом низкий топкий берег вдаль, красные бакены на холодной воде, вытянул ноги, откинулся на полосатую спинку шезлонга.

— Смотри лучше, какой роскошный закат нам готовят, — сказал он, — а ты все про будущее. Давай жить тем, что имеем. Я имею закат и рисую его. Я имею тебя и все время рисую тебя. Я не знаю, есть ли ты в будущем.

Перед ней предстал человек, не понимающий своих возможностей, замкнутый в свою странную живопись, необычное видение окружающего. Закат был для него росписью на холсте неба. Вид озера с пустынными островами, бедными черными избами он видел как большое полотно, зарисованное аккуратным реалистом, ему же хотелось порвать эту унылую картину посередине, чтобы реальностью стала дыра и в ней обнаружилось другое существование...

От его фантазий казалось, что они действительно движутся в нарисованном мире, среди декораций. Объемный цветной фильм, который кто-то крутит для них.

— Тебе нужна жена, деловая женщина. Чтобы понимала твой талант. Она могла бы многое сделать. — Эн остановила на нем задумчивый взгляд. —

Создать нормальные условия. Освободить от работы в музее.

— Мне там надоело, — пробормотал он.

— Продавать твои работы в Европе.

— Опять ты про них.

— Не про них, а про нее.

— Знаешь, как за это меня станут честить. Про одного из нашей группы писали: “Раз за границей восхваляют этого отщепенца, значит, хотят сделать его орудием борьбы с советским искусством”.

Она закрыла глаза, спросила как бы дремотно:

— Ты бы мог переселиться туда?

— Вряд ли, — с запинкой произнес Валера, видно, он сам не ожидал от себя этой запинки; желая ее сгладить, добавил насмешничая: — Языков мы не знаем.

Эн кивнула, но не его ответу, однако ничего далее с ее стороны не последовало. Вместо этого она встала, напомним, что пойдет переодеться к ужину.

После ужина они распили бутылку кахетинского и взяли еще одну с собою в каюту Эн.

— Ты знаешь, что в тебе особенного? — сказал Валера, поднимая стакан с вином. — Свежесть! Ты вся свежая, тебя только что сорвали с дерева.

На этот раз все было по-другому. Он принес краски, раздел ее, усадил на койку и что-то стал писать в альбоме. Ему нравился этот молочный свет, темно-красные деревянные панели каюты, ее загорелое тело, скрещенные ноги, нравилось, что она не стесняется своих чуть сникших грудей, где-то тронутого морщинками тела.

Он захлопнул альбом.

— Не получается. Ты не годишься в натурщицы. Невозможно рисовать женщину, которую любишь. Выходит просто красивое тело.

Ему хотелось передать свое чувство, которое он сам не мог определить. Когда он делал тот портрет, не зная ее, все было просто, он создавал женщину, как Господь Бог лепил Еву. Теперь он окончательно перестал видеть что-либо таинственное в появлении ее портрета.

В постели они оба становились безжалостными и грубыми. Поначалу она казалась ему хрупкой, он боялся ее раздавить, но очень быстро он уже забывал обо всем. Она билась под ним как рыба, удивляла своей силой, что-то вырывалось у нее по-английски. Однажды она заплакала. На его

расспросы она виновато и счастливо улыбалась мокрой улыбкой, которой от нее невозможно было ожидать.

Если человек — это тайна, то женская половина содержит в себе самую тайную тайну, которую мужчина разгадать до конца не в состоянии, потому что нет общей женской тайны, а каждая женщина, красивая или некрасивая, молоденькая, или зрелая, или даже старая, все равно имеет свою тайну, что проявляется в совершенно непредусмотренных, непредсказуемых поступках.

В то же время действия мужчин для женщин часто ожидаемы, даже спровоцированы. Как говорил Джо, это легко проследить на брачных делах: из ста предложений, которые делает мужчина женщине, семьдесят были ею внушены, подсказаны, подготовлены тем или иным образом.

— А с какой стати иностранцы будут ко мне ходить? — вдруг спросил Валера.

— Кто-то им должен подсказать.

— Допустим, пришли. Говорить-то с ними мне как, через переводчика?

— Наверное, — лениво отвечала Эн.

— А переводчики все стукачи, — сказал Валера с торжеством.

Эн потягивалась, говорила неохотно.

— Я бы могла переводить.

— А в тебе можно быть уверенным?

— Нелепый вопрос.

— Почему?

— Рискни.

— Они, значит, придут, а где я тебя возьму?

— Да... сложно. — Она подумала. — Попробуем, для начала я их приведу к тебе.

Она осторожно предложила проверить, получится или нет, и как получится, и стоит ли этим заниматься. Она все брала на себя, ему надо только назначить цену, торговаться, не дешевить. Вышло так, что он просил помочь ему, а она согласилась, вздохнув над своей уступчивостью. Когда же он стал благодарить, она расцеловала его с новым чувством, прикрыла ему рот ладошкой, прижала голову к себе, как прижимала голову малыша. Хорошо, что он не видел ее лица в эту минуту. Теперь от нее зависело сделать ему имя, создать известность. Как знать, может, Кирюша не ошибся, может, он и впрямь гений. Она была уже не просто любовницей видного

собой мужика, к которому должна тайком пробираться в мастерскую и заниматься любовью на холодном скользком клеенчатом диванчике. У нее появилась миссия, ее чувство наполнено отныне высоким смыслом, он дурачок, его надо опекать, иначе он пропадет из-за своей наивности.

XXII

Лаборатория разрасталась. Захватили еще один этаж. Соседний флигель. Прибывали заказы. Начались работы над микрокалькулятором. Морякам нужен был специальный компьютер для подводных лодок. Расчетчики просили повысить надежность. Андреа не отказывался от военных заказов. Они давали деньги, обеспечивали аппаратурой, фирма должна быть заинтересована в заказчиках, к этому он привык. Кто-то из молодых принес в тот год впервые выражение “наша фирма веников не вяжет”. Оно понравилось Андреа, он употреблял его к месту и не к месту, ему приятно было произносить слово “фирма”, тем более что это была его фирма.

Несмотря на то, что штат увеличился до восьмисот человек, он по-прежнему старался устраивать экзамен каждому поступающему. В крайнем случае поручал это Джо, обычно же они терзали новичка вдвоем, приглашая на это зрелище еще руководителя группы.

Времени не хватало. Когда его приглашали на активы, на заседания в райком, обком, он посылал кого-либо из своих замов: “Вы уж извините, мне некогда”. Когда настаивали, отвечал резче: “Там будет полезной информации не более десяти процентов. Мне передадут все без искажений”. Окружение советовало ему бывать в обкоме и райкоме. В эти учреждения надо ходить и ходить. Зачем? А затем, зачем ходят в церковь, отвечал ему Зажогин, его заместитель по общим вопросам, человек с виду грубый, матерщинник, примитив, “булыжник с челочкой”, как определил его Джо. На самом же деле тонкий политик, знаток номенклатурной психологии. “Чем чаще ходишь в райком, тем выше престиж организации. Ваш же вопрос, Андрей Георгиевич, некорректен, меня, например, спросили в том же райкоме, зачем я пью, я им сказал — затем, чтобы выпить, и они сочли мой ответ исчерпывающим”.

Перед ноябрьскими праздниками позвонил по вертушке сам первый секретарь райкома товарищ Каюмов и попросил Андреа Георгиевича приехать к нему завтра в двенадцать часов.

В приемной Андреа продержали минут двадцать, затем пригласили в кабинет. Каюмов встретил его шумно, обрадованно, наконец-то к нам пожаловал гость дорогой, осмотрел его одобрительно, отметил подтянутость Картоса, свободно сидящий костюм в полоску, туфли на толстой подошве, чуть приспущенный галстук — во всем этом у вас, заграничтерей, есть шик, а мы, как бы ни наряжались, все те же тюхматюхи.

Он играл рубаху-парня, работягу, заваленного делами, который не чужд обычных радостей, да времени не хватает. По-восточному смуглый, скуластый, с быстрым взглядом жуликоватых черных глаз, он нравился начальству своей динамичностью. А то, что играл простачка, так он этого не

скрывал, игру его обычно принимали, и то, что Картос не принял ее, могло значить лишь, что ему, иностранному человеку, надо освоиться.

Каюмов усадил его в глубокое кожаное кресло, сам сел напротив на ручку такого же кресла. Заговорил, похлопывая себя по колену, крякая, — вот-де с каких неприятностей приходится начинать знакомство, а дело в том, что слишком большая засоренность кадров в лаборатории. Нехорошо, нельзя дальше так.

Картос непонимающе заморгал — какая засоренность, кем они, кадры, засорены?

— Должен понимать, — Каюмов подмигнул, — не темни, ты прост, а я еще проще.

— Засорены, по-моему, от слова “мусор”. — Картос вынул из кармана словарь, на официальные визиты он всегда брал с собою словарь. Прочел: — “Мусор — сухие ненужные отбросы”.

— Насчет сухих не знаю, — пошутил Каюмов. — Может, есть и мокрые, а ненужные — это точно.

— О ком вы говорите?

Картос упорствовал, требуя прямого текста, который в таких случаях Каюмов не любил употреблять, потому что прямой текст могли процитировать, могли на него сослаться, существовали общие формулы: засоренность, неправильный подбор, не та кадровая политика, — все понимали, что сие означает.

— Слишком много у тебя этих, с пятым пунктом, — сердясь, произнес Каюмов.

— То есть? — добивался Картос.

— Ну евреев, евреев.

— Я не подсчитывал.

— Вот и плохо. — Каюмов протянул Картосу приготовленную бумагу, подписанную начальником отдела кадров.

Картос посмотрел, слегка удивился.

— Действительно, я на это не обращал внимания. Мне такие сведения не нужны, они ничего не дают.

— Картина неприглядная.

— Я брал тех, кто делает машину быстро и хорошо.

— Что, русских толковых мужиков мало?

Картос добросовестно обдумал этот вопрос.

— Немало. Возможно, ко мне приходят те, которых увольняют. Есть много таких, толковых... Еще те, которые не могут устроиться в других местах.

— Получается, что ты подбираешь отбросы. Я правильно говорил — засоренность кадров.

Тщательно подбирая слова, Картос стал рассказывать про свою систему приема на работу, про экзамены, собеседования. Он волновался, видя, что никак не удастся Каюмова заинтересовать ни принципом отсева, ни микроклиматом в группах. Анкеты, которыми он пользуется перед личной беседой, содержат минимум сведений: возраст, образование, где работал.

— Потому ты и влип; они тебя оккупировали.

Каюмов дал Андреа выговориться. Это было в его правилах — чтобы каждый руководитель с чистой совестью мог рассказать, как, не щадя себя, он отстаивал своих сотрудников. Они, все, старались сохранить лицо, самоуважение, а он, секретарь райкома, брал на себя всю черную работу, они же сохраняли себя чистенькими.

Когда Картос кончил, Каюмову пришлось произнести ряд фраз о национальной политике, о том, что грузины создают свои кадры, русские — свои. Его забавляла напряженность, с какой этот маленький грек вслушивался в каждое слово.

— Мы с тобой, дорогой мой, живем в России, а не в Израиле и не в Америке.

Почему-то при этих словах Картос поднялся, вытянулся — маленький, безукоризненно официальный, как представитель другой державы.

— Позвольте заметить, что в капиталистической американской фирме никто не считает количество евреев, или греков, или русских на предприятии. Может, это является язвой капитализма?

Каюмов благодушно улыбнулся:

— Напрасно ты на себя берешь. К грекам я ничего не имею. Греки ведь православные. У нас американские порядки заводить не будем. Там капиталист ради прибыли кого хошь к себе возьмет. Это не наш курс.

— Там такой же порядок и в государственных учреждениях.

— У них всюду капитализм. Всюду главное — нажива. Америкой управляют сионисты.

Он соскочил с кресла, мягко нажал рукой на плечо Картоса, усаживая.

— Техника у них неплохая, но не будем перед ней преклоняться. Тебе как руководителю надо критически к американским порядкам относиться. Вот мне сообщили, что вы калькулятор делаете лучше американского. Значит, можете. Молодцы. Только подать себя не умеете. Ты зря не общаешься с нами. Как пишет Сент-Экзюпери, “самое дорогое — это человеческое общение”.

— За что же их увольнять? — как бы размышляя, спросил Картос.

— Предоставь это кадровику. И в дальнейшем советуйся с ним.

— Не знаю... Не вижу причин. У нас сейчас задание ответственное.

— Чего ты за них заступаешься? — жестко сказал Каюмов, жесткость по ритуалу означала исчерпанность обсуждаемого вопроса. — У меня от них одни неприятности. Будируют инакомыслие, самиздат. Они и тебя подведут под монастырь.

— Что такое значит “под монастырь”?

— Ладно, не будем заниматься деталями. Я ведь могу не только уговаривать, могу и власть употребить.

Картос опять встал.

— Я попрошу вас дать мне предписание и указать точно число евреев.

— Тебе что, мало моих слов?

— Как у вас говорят: Москва словам не верит.

— Слезам не верит, — покровительственно поправил Каюмов. — Нашим словам поверит. И твоим. Есть установка. Наше с тобою дело — выполнять.

Картос задрал голову к потолку, его поза явно означала несогласие.

— Если мы сорвем сроки, я должен буду предъявить министру ваше указание.

— Думаешь, тебе это поможет? — Каюмов повеселел. — Снисхождения не жди. А вообще-то, Андрей Георгиевич, скажу тебе по секрету: министры приходят и уходят, а мы остаемся. То есть партия. Ты на них не надейся. Ты почему в обком не ходишь, а? К нам не заглядываешь? Рапорты свои шлешь в Москву. Все же в Ленинграде живешь. Как это все понять?

Картос неловко улыбнулся:

— Не привык я ходить без дела.

В кабинете как-то сразу посветлело. Каюмов похлопал его по плечу, доверительно сообщил, что идут анонимки, жалуются, что в лаборатории русским ходу не дают, на лучшие места подыскивают сионистов. Что делать

с этими анонимками? Как на них реагировать?

— Не читать.

— Ишь какой прыткий.

— Я слышал, что Петр Великий велел подметные письма сжигать не читая.

— Писать станут наверх, обвинят нас, что мы тебя покрываем. Послушай, чего ты за них заступаешься? Ну, я понимаю, головастые среди них есть, удобные тебе, ну, оставь нескольких. Но зачем ты в принцип ударился, что, они тебя охомутили? Они это умеют. Прибрали, значит, к рукам, подчинили себе.

— Меня подчинить? Это трудно.

— Вижу... Тем не менее. Не пойму я тебя.

— Я тоже, — сказал Картос. — За что вы их ненавидите?

Каюмов неожиданно покраснел, прошелся по кабинету, встал за стол.

— Много чести, чтобы я их ненавидел. Есть установка, и я понимаю ее. Идеологически от них одни неприятности. Мы пропустили твоего Брука в главные инженеры. Достаточно. Превращать лабораторию в кагал — не будет этого. Не стоит тебе защищать их. Пустое дело. Ничем хорошим не кончится. Передадим вопрос на ваш партком. Увидишь, как там тебя общипают. Репутация твоя пострадает. Сам виноват, с тобой по-доброму хотели.

— Я тоже хотел... — Картос выглядел несколько растерянно, он не ожидал такого резкого перехода.

— Ничего, тебе полезно будет. Ты думал, я с тобой торговаться стану? Здесь не упрасивают. Мы тебя научим уважать партийные органы.

Заседание парткома провели на следующий же день. Докладывал начальник отдела кадров. За ним выступил секретарь парткома, предлагая отметить неправильную кадровую политику, предложить руководству принять меры в такие-то сроки... Затем предоставили слово Картосу. Он изложил свой принцип отбора и приема на работу инженеров. Повторял то, что говорил Каюмову, но погасшим голосом, без обычной убедительности. Члены парткома вопросов не задавали, что-то чиркали — рисовали на разложенных листах бумаги.

— Кто имеет слово? — спрашивал секретарь парткома. — Тогда предлагается такой проект постановления...

Он достал бумагу, но инструктор райкома, грузная большая женщина, пробасила из угла:

— Надо, чтобы было мнение.

Секретарь парткома просительно обвел всех глазами.

— Может, вы, Михаил Андреевич, — обратился он к Загогину.

— Почему я? — обиженно сказал Загогин. — Да и чего говорить. — Он махнул рукой.

— Можно, я скажу? — вдруг подал голос Назаров, морщинистый, желтоватый, насквозь прокуренный плотник, всегда дремавший в конце стола.

— Давай-давай, Назарыч, — обрадовался секретарь.

Назаров начал, глядя на свои тяжелые руки, лежащие на столе:

— Помните, может, как мы оставили Крым, то есть Керчь, в сорок втором году. Немец прорвался в мае месяце и пошел крушить. Начали эвакуацию наши начальники. Ни пароходов не хватало, ни барж...

— Ты, Назарыч, ближе к делу, — перебил его секретарь. — Мемуары твои военные сейчас ни к чему.

— К чему. Конечно, если товарищи торопятся, тогда извиняюсь.

— Пусть доскажет, в кои веки человек слово взял.

— Ладно, продолжай.

Назаров покашлял в ладонь, положил руки на стол.

— Не знаю, что там фронт делал, нашу группу от каменоломен отрезали, прижали к берегу. Честно говоря, командование бросило нас, сели на последние катера и драпанули к Новороссийску. Остались солдаты с младшими офицерами. Стали мы искать, как бы переправиться нам на Тамань. От нашей роты двадцать пять человек уцелело. Решили строить плот. Один на всех. Бревен нет. Разобрали домишки дощатые, набрали жердей, связали кое-как. Поплыли. А как вышли в море, волна поднялась, плот не держит, тонет.

Секретарь парткома громко вздохнул. Назаров остановился.

— Вы уж потерпите, товарищ секретарь. Не толкайте меня в спину. Слушали мы ваши доклады не меньше часа... Такой каюк получается, тонет наша худобина. Видим, что перегрузка. Винтовки бросать боимся, да и не поможет. Командир наш, лейтенант Коняшкин — помню его имя-отчество: Борис Матвеевич, — могучий был, кулак что кувалда, доски для плота ломал с одного удара. Скомандовал он возвращаться на берег. Вернулись. Немцы совсем близко. Автоматчики трещат. Достраивать плот нет никаких возможностей. Что делать? Расклад такой: либо всем оставаться немцам на сдачу, либо хоть кто-то уплывет. Спрашивается — кто? Коняшкин

предлагает жребий тянуть, кому на плот, кому оставаться. Пятнадцать человек выдержит плот, десять, значит, останутся. И тут Коняшкин сделал нам такое примечание: “Жребий тянуть будут только русские, украинцы, азербайджанцы”. Евреи, говорит он, тянуть не будут: если оставим их на берегу, фашисты их немедленно уничтожат. Так он сказал, и никто ему перечить не стал. Я плот вытянул, а Коняшкин не вытянул и остался. Обняли мы их, попрощались. Между прочим, три наших еврея стояли в стороне как виноватые. Коняшкин подошел, расцеловал их, сказал им что-то, а что, я не слышал. Хочу я про это рассказать к моему голосованию. По мотивам, так сказать. Не знаю, может, у вас есть указание, только я не хочу нарушить указание нашего лейтенанта. Так что вы извините.

Наступило молчание.

— Может, еще кто-то хочет? — неуверенно предложил секретарь.

— Я думаю, что лучше нам не срамиться и идти вслед за рабочим классом, к тому же фронтовиком, — дипломатично сказал Зажогин.

На том и разошлись.

XXIII

Познакомиться с иностранцами оказалось не так-то просто. Туристы были всегда под присмотром. Не ловить же их на улице. Или в ресторане. После нескольких неудач Эн нашла единственное подходящее место — Эрмитаж. С первого же раза все произошло естественно и легко. Американская пара сразу признала в ней американку, схватились за нее, пригласили обедать, она отказалась, сказав, что занята, у нее свидание с местными художниками по поводу покупки картин. На их расспросы она призналась, что делает бизнес, и, кажется, удачный. Здесь, в городе, есть оригинальные и молодые, и зрелые художники. Сейчас, после хрущевских выступлений, их загнали в подполье, они бедствуют, и можно по дешевке приобретать отличные работы. Она ничего не предлагала, американцы сами стали напрашиваться. Это были муж и жена, оба врачи, участники какого-то московского симпозиума, они специально приехали в Ленинград ради Эрмитажа и пригородов. На следующий день она повела их к Валере, предупредив, что не считает себя специалистом, но местные художники чтят его как гения. Короче говоря, американцы купили у Валеры две работы, были в восторге и порекомендовали его друзьям. Раза два Эн приводила еще любителей из Эрмитажа, и этого оказалось достаточно. Американцы платили рублями, валюту Валера брат остерегался, больше двух-трех картин зараз не продавал, не хотел привлекать внимание. Иностранцев он принимал под вечер, часов с пяти, Эн как бы случайно оказывалась в это время в мастерской. Обычно в ее присутствии платили больше, она не набивала цену, она принимала как бы размышляющий вид, как бы сама прикидывала, не купить ли. Ей и в самом деле было жаль, когда благодаря ее стараниям конгрессмен из Канзаса купил “Ангела”, название это Валера написал на задней стороне холста красной краской над своей подписью. Конгрессмен собирался повесить картину в своем офисе. Он пригласил Эн зайти к нему, когда она будет в Канзасе. Прощаясь, признался, что доволен, картина куплена, в сущности, за гроши, а она несомненно возбудит интерес. Все это

он говорил, нисколько не стесняясь присутствия художника, и даже похлопал его по плечу.

— О'кэй, Валэра?

— О'кэй, — повторил Валера, беспомощно улыбаясь.

Конгрессмен захохотал, подмигнул Эн.

— Вы знаете, мистер, это похоже на жульничество, — сказала Эн.

— Ерунда, — уверенно успокоил ее американец. — Это бизнес.

Когда она передала Валере их разговор и призналась, что они просчитались, возможно, они все время просчитываются, она виновата, не знает конъюнктуры, Валера отнесся к этому благодушно:

— Сколько стоит картина, никогда не известно. Из чего состоит ее цена? Только из удовольствия. Я иногда думаю: за что платят художнику? Допустим, музей купил картину, повесил. Мы купили билет, пришли, посмотрели. От картины убыло что-нибудь? Нет. Смотрят на нее или нет, она ничего не теряет. Вечером, ночью музей закрыт, картина висит впустую, не работает. От этого цена ее не уменьшается. Что-то в этом непонятное. Скрипач, допустим, — ему платят за исполнение. Все ясно. Композитору — за то, что песню его поют в ресторане. Архитектору ты заказала дом, платишь за проект. Это все как бы товар. Картину же ты купила и сунула за шкаф, в запасник... Сколько стоит удовольствие? Тысячу? Или три тысячи? В Америке кто-то даст за нее десять. Мы никогда не узнаем, сколько на самом деле она стоит. Обычно художников сравнивают друг с дружкой. А если меня не с кем сравнивать? Если эксперты пишут, что художественной ценности не имеет?..

Его рассуждения были хороши здесь, в России; там, в Штатах, престиж художника определяется просто и точно — успехом его картин. Никакие другие критерии не действовали. В этом, если угодно, была известная демократичность, отсутствие всяких привилегий. Постепенно ей удалось втолковать это Валере.

Покупатели были главным образом американцы. Эн впервые видела их со стороны, они держались самоувереннее всех прочих иностранцев, они чувствовали себя хозяевами, они смотрели на русских свысока, им были смешны здешние автомобили, витрины, освещение. Эрмитаж они разглядывали как сундук с наследием какой-то разорившейся аристократки. После войны они чувствовали себя победителями больше, чем русские. Валера был для них один из туземцев, у которого можно было выгодно выменять драгоценность. Они не считали, что обманывают его, поскольку он сам не представлял стоимости своих изделий. Были два или три ценителя, которые восхитились талантом художника, остальные же просто радовались удачной покупке и благодарили Эн.

— Зря ты их ругаешь, — успокаивал ее Валера. — На их месте наши ничего

подобного не купили бы.

К нему приехали корреспонденты из американского журнала “Art”, пересняли несколько его работ, взяли интервью. Судя по всему, о нем начались какие-то разговоры в Штатах, его стали упоминать вместе с московскими опальными художниками и несколькими молодыми ленинградцами.

Эн искала теперь знатоков, настоящих коллекционеров, европейцев, ей нужны были люди, с чьим именем считались, профессионалы, которые делают каталоги.

Журнал “Art” оказался роскошным изданием. Там поместили две хороших репродукции и небольшую статью о Валере; заметка того же автора появилась в воскресном номере газеты “Нью-Йорк таймс”.

Эн ликовала, это был ее успех, она сама не подозревала в себе такой энергии, находчивости, изворотливости, с какой ей удавалось играть свою роль. Валера упрекал ее за то, что она весь пыл тратит на дела, не оставляя на любовь. Он избегал спрашивать, как она отлучается из дому, что у нее происходит с мужем, он хотел сохранить ее как любовницу. На первый же гонорар он купил финский диван; синяя с золотом обивка, подушки, валики, упругие пружины, а то последнее время они устраивались на полу, кушетка совсем развалилась; еще купил себе и Эн по махровому халату, шикарный сервиз и фужеры — для гостей. Ходил он по-прежнему в своей драной кожаной куртке, Эн с этим смирилась, художник имеет право на причуды.

После ноябрьских праздников Валерия вызвал заместитель директора музея и предложил подать заявление об уходе по собственному желанию. Снизив голос, прижав кулачки к груди, уверял, что указано уволить, борись не борись, он лишь пробил формулировку, чтобы не портить трудовую книжку...

Валера признался Эн, что предвидел такой поворот, и заложил в дальний стеллаж хранилища три свои картины, чтобы остался в истории русской живописи некто Валерий Михалев.

— Мой бескорыстный дар приютившему меня музею, — заявил он. — Когда-нибудь объявят о счастливой находке, будут ликовать!

XXIV

— Вы находились у Валерия Михалева, когда к нему явились французские журналисты из газеты “Монд”?

— Находилась.

— Зачем?

— Я помогала ему как переводчица.

— Французы говорят по-русски.

— Да, но мы не знали об этом.

— Мы!.. Вы давно знакомы с Михалевым?

— Несколько месяцев.

— Вы бываете у него?

— Да.

— Зачем?

— Он приглашает меня как переводчика.

— Вы давали подписку, что не будете знакомиться с иностранцами.

— Я не считала, что это было знакомство.

— Вы как-то называли себя?

— Иногда только по имени.

— Они вас о чем-то спрашивали?

— Мы говорили о живописи.

— Откуда они узнали адрес Михалева?

— Думаю, что это передавалось по цепочке.

— А кто же вначале их вывел на него?

— Вначале я.

— Каким образом?

Они выслушали ее рассказ почти безучастно, словно им читали позавчерашнюю газету.

— Зачем вы это сделали?

— Его выгнали с работы, оставили без средств.

— Как бы там ни было, получается, что вы его толкнули на связь с иностранцами.

— Я?.. Или вы?.. Я думаю, что ему не оставили выхода. Никому из них не оставили.

— Каковы ваши отношения с ним?

— Хорошие.

Они оба улыбнулись.

— Вы состоите в интимной близости?

Вопрос не произвел никакого впечатления на Эн.

— Вас что интересует: сколько, где и каким образом?

Молчавший до сих пор Петр Петрович сделал успокаивающий жест рукой.

— Можете не отвечать. — И кивнул молодому.

— Что говорил Михалев иностранцам о преследовании художников?

— При мне говорили только о продаже его картин.

— А без вас?.. Вам известны его взгляды... Мог ли он еще где-то, без вас, встречаться с иностранцами?

Эн отстраняла его вопросы плечом, бровями, слабым движением губ. В движениях ее сквозила брезгливость, которая более всего раздражала Николая Николаевича. Всей своей внешностью, манерами он старался показать, что он не из тех следователей, — молод, интеллигентен, модно одет, разговаривая с женщиной, умеет смотреть ей в глаза мужским взглядом, устанавливая особый чувственный контакт: а все же ты баба, интересная баба, и для меня это главное. Он действительно любовался Эн, и то высокомерное безразличие, которое он читал в ее глазах, мешало ему выдерживать галантно-ироничный тон.

— Я бы не советовал вам так вести себя. Вы не хотите нам помочь.

— Почему я должна вам помогать?

— Это в ваших интересах.

— Не понимаю.

— Вы нарушили обязательства. Вас можно привлечь к ответственности за связь с иностранцами.

— Пожалуйста.

— Вы подумали о вашем муже?

Эн посмотрела на Петра Петровича.

— Это похоже на шантаж.

Петр Петрович вздохнул, нажал кнопку.

— Давайте запьем это дело. Надюша, — сказал он возникшей в дверях горничной, — принеси-ка нам... Вам чего, Анна Юрьевна, чайку или кофе? Кофе? Ну и нам кофейку.

Он вел себя благодушно, примирительно, как старший среди задиристой молодежи.

Чашечка была темно-синего фарфора, с золотом, того же рисунка вазочка с печеньем и конфетами.

Николай Николаевич надкусил трюфель, запил глотком кофе, сказал:

— Мало ли чего Михалев наговорит иностранцам, будут неприятности, и вы окажетесь в виноватых...

— Что вам надо, я не пойму, — сказала Эн. — Неужели вас всерьез беспокоит, что скажет Михалев иностранцам? Скажет, что не нравится кампания против абстракционистов. Многим художникам не нравится. Вам что, это неизвестно? Обругает начальство. Военных секретов он не знает.

Николай Николаевич допил кофе, облизнул губы.

— Прекрасно. Вы, оказывается, хорошо знаете, чем нам надо заниматься, а чем не надо. Годитесь в сотрудники. Вполне. Чего ж вы отказывались?

Довольный неожиданным поворотом он собирался поиграть и дальше, но Петр Петрович постучал ложечкой.

— А что, Анна Юрьевна трезво рассудила. Раз вы ничего плохого за Михалевым не усматриваете, мы вам верим. Считайте, ваша информация сработала. Пусть торгует своими картинками. Нас что беспокоит — не попытаются ли иностранцы через него выйти на вашего мужа.

— Известно ли Михалеву что-либо о характере работы вашего мужа? — спросил Николай Николаевич.

— Нет.

— Задавал ли он какие-нибудь вопросы?

— Нет.

— Что он знает о вас? О вашей семье?

— Ничего.

— И вы ему ничего не рассказывали?

— Ничего.

— Ваше знакомство, — он подчеркнул это слово смешком, — длится несколько месяцев.

Эн молчала.

— Работа Андрея Георгиевича получает все большее значение, — мягко сказал Петр Петрович. — Мы знаем, что ваши земляки ищут ходы и выходы, как бы им вынюхать, что он делает. Да и кто он такой, этот Картос. Любую трещинку, дырочку они готовы использовать. Михалев может стать для них такой щелкой. Согласитесь. Так что не удивляйтесь нашим расспросам.

Эн сидела, закинув ногу на ногу, ни разу во все время разговора им не удалось ее смутить, иногда она отворачивалась к окну, откровенно скучая. Пригубив кофе, она отодвинула чашечку.

— Не нравится? — тотчас спросил Петр Петрович.

— Не нравится, — сказала Эн.

— Сварить кофе — это искусство, — согласился Петр Петрович. — У нас в городе нигде не умеют. Ни в одном ресторане. Бурда. Я вам могу признаться, Анна Юрьевна, мы еще не знаем, какую ловушку ЦРУ готовит Андрею Георгиевичу. С какой стороны ждать беды. Мечемся. На работе подстраховали крепко. А вот дома Андрея Георгиевича обеспечить труднее.

Он выжидательно замолчал. Эн тоже молчала. Некоторое время они перетягивали это молчание — кто кого. Петр Петрович закурил, тут же спохватился, спросил:

— Не возражаете?

— Не возражаю.

— Помогите нам, Анна Юрьевна, нелегко мне с такой просьбой обращаться, потому что это в какой-то мере признать нашу беспомощность. Но без вас не выйдет.

— Что именно?

— А все. Допустим, гости. Кто, чего, о чем. Если вам, конечно, что-то покажется. Или кто-то позвонил. Любая мелочь тут может сыграть. Собрались вы куда-нибудь. Допустим, на теплоходе, Валаам посетить. Мало ли что там может быть.

Эн пристально взглянула на него, в ответ Петр Петрович виновато поежился.

— Они на все способны. Похитить. Спровоцировать. Не выйдет, так убьют.

— Что же — я должна следить за своим мужем?

— Анна Юрьевна, я исхожу из того, что вы любите своего мужа. — Петр Петрович посмотрел на нее из-под нависших толстых бровей. — Или это дело прошлое?.. Вы его по-настоящему любили, поэтому я считал, что вы наша союзница, готовы на все.

— И чтобы он не знал?

— Зачем ему создавать напряжение? — вступил в разговор Николай Николаевич. — Вы же не все ему рассказываете. Есть вещи, которые он не знает.

Эн даже не повернулась в его сторону.

— Вы полагали, что я соглашусь на такое предложение?

— Как сказал Петр Петрович, если человек любит...

— Вы что же, не надеетесь на Андрея Георгиевича?

— С чего вы взяли? Он надежен. Но ведь всякое может быть. Вечеринка, свадьба, допустим. Напили его, и он проболтался.

— Он не пьет.

— Как так не пьет?

— Представьте себе.

— Совсем не пьет?

— Он никогда не напивается. Как же вы это не знаете? Чем же тогда тут занимаетесь?

Взгляд Николая Николаевича стал тяжелым, запоминающим.

— С нами так не разговаривают.

Петр Петрович придавил сигарету в пепельнице.

— Посоветуйте, Анна Юрьевна, как нам быть. Мы хотели сделать по-хорошему. Не заставляйте нас вербовать вашу домработницу, соседей.

— Я сказала вам.

— Нам не хотелось бы принуждать вас, — сказал Николай Николаевич.

Эн молчала.

— Мы держим в тайне ваши похождения на стороне — вы идете нам навстречу. Согласны?

Молчание.

— Иначе станет известно, что было на теплоходе... Что было в мастерской.

Эн взяла чашку, не торопясь вылила кофе на ковер, повертела чашку в руке, вдруг размахнулась, запустила ею в стену так, что чашка разлетелась вдребезги.

Николай Николаевич вскочил, выругался, но Петр Петрович коротким жестом остановил его.

— Ничего страшного. Дмитрий Иванович Менделеев советовал: бейте посуду! Тем более это казенная. — Он с удовольствием хохотнул. — Разрядились? Итак, я вас спрашивал, можете ли вы что-то нам посоветовать. Мы вышли на вас потому, что ничего другого не имеем. Поверьте, нам неприятно копаться в ваших похождениях. А как иначе вас заставить?

Петр Петрович откинулся в кресле, стал разминать пальцами новую сигарету. И сразу заговорил Николай Николаевич, они сыгранно перекидывали разговор друг другу.

— Вообразите, что все раскроется. Жена такого человека — любовница какого-то бездарного мазилы, осужденного общественностью. Ведь не постесняются называть вас... знаете, как у нас в народе...

Ее взгляд обратился к Николаю Николаевичу, который хотел сказать, что она обыкновенная шлюха, потаскуха, несмотря на все ее испанские и прочие языки, херувимское личико, породистые ноги, надменность. Все равно курва, курва, какую бы прекрасную незнакомку из себя ни строила. Любой бабе Николай Николаевич выложил бы не раздумывая, а тут не мог перескочить.

— Если разразится скандал, Михалев отшатнется от вас. Он ведь трус. Напугается так, что вас и на порог не пустит, — сочувственно говорил Петр Петрович. Что-то располагающее было в его рыхлой, мягкой фигуре, в прокуренно-желтых больших руках. — У вас тут ни родных, ни друзей. Вы совсем одна-одинешенька. Порвется с Андреем Георгиевичем. Что вам делать? Вы все ж подумайте. Не решайте с ходу.

Эн открыла сумочку, посмотрела в зеркальце, погладила пальцами под глазами.

— Что будет со мной, это у вас рассчитано. А что будет с Андреем Георгиевичем, вам известно?

— Знаете, как писал наш поэт Есенин, — сказал Николай Николаевич, — “да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом”. Женщина приходит на смену женщине, и все быстро зарастает.

— Вы не рассматривали такие варианты: он повесится, утонет, убьет меня, покончит с собою и со мной...

— Ой, не надо, не пугайте нас! — воскликнул Николай Николаевич с преувеличенным ужасом. — Страшно слушать.

— Вы плохо его знаете. Вы не изучили как следует свой объект. Он самолюбив. Болезненно самолюбив. Он может выкинуть бог знает что, любой поступок. Когда он сломается... Вы его сломаете этим...

— Лучше о себе подумайте, — перебил ее Николай Николаевич.

Она не взглянула в его сторону, она обращалась исключительно к Петру Петровичу:

— Ему не до работы будет, он ее вообще может забросить. Такое с ним уже было.

— Когда, где? — заинтересовался Петр Петрович.

— В Штатах. Его довело ФБР.

— Вы что же, нас с ними равняете? — возмутился Николай Николаевич. — Ничего себе!

— Он впал в протрацию, было страшно, вы бы видели...

Воспоминания вырвались из той запретной тьмы: его рыдания, его голова, прижатая к ее коленям, вздрагивающие плечи. Петр Петрович заметил, как отчаянно задергалась жилка в углу ее глаза, он внимательно наблюдал за тем, что происходило на ее лице, как перехватило у нее дыхание, еще немного — и она сдастся. Он перегнулся через стол к ней.

— А теперь ваше упрямство его погубит. Не нас вините, вы будете виноваты. Вы, только вы, от вас все зависит сейчас... — тоном гипнотизера внушал он ей ровным тихим голосом. — Анонимки, телефонные звонки, подозрения... Зачем? Из-за глупых ваших предрассудков. Ради чего вы губите и себя и его?

Сочувствие его звучало искренне. Она должна была согласиться. У нее не было выхода, ей некуда было податься, повсюду ее ждали бесспорные доводы. За много лет здесь все было отработано. Каких только отговорок не придумывали сотни мужчин и женщин, которые тоже пытались увернуться. Давно были известны предельные возможности их сопротивления.

— Поймите, Анна Юрьевна, глупо ссориться с машиной. Я могу что-то смягчить, но не более. Наше учреждение — машина, неумолимая, как рок, бездушная часть системы. Вам еще повезло, у вас есть моральное оправдание. Никто не смеет вас упрекнуть в доносительстве. Вы охраняете мужа. Вы исполняете долг. Так выполняйте его и наслаждайтесь жизнью. Вам никто не будет мешать. Информировать нас, предупреждайте, ничего другого от вас не надо. Устно информируйте.

Ей предлагали выбор. Между покоем и страхом, между счастьем и крушением, все было очевидно, слишком очевидно. Беда ее была в том, что

она не умела взвешивать и рассчитывать. Решения приходили к ней безотчетно, откуда-то из глубины души.

Она вдруг попросила водки. Неожиданно для себя самой, но мужчины обрадовались, появилась запотевшая бутылка из холодильника, стопочки, плавленые сырки. Эн выпила не чокаясь, поспешно, не стала закусывать, передернулась и тут же выпрямилась, глаза ее заблестели, она заговорила властно, громко:

— Ваши коллеги потратили много сил, чтобы вытащить нас, переправить сюда. Это было трудно. Они помогли найти нужное место, помогли наладить работу. Это тоже было трудно. Теперь, когда дело пошло, вы хотите все испортить. Защищаете нас от провокации? Ничего подобного. Я заявляю вам: ваши действия будут хуже любой провокации. Я обращусь к вашим московским коллегам. Работать на вас, то есть работать вместо вас, быть вашим агентом, находиться у вас в руках, да? Вот чего вы хотите. А сами? Нет уж, вам поручено, вы и работайте!

Эн вскочила, легкая, гибкая, все в ней напряглось, она ощетибилась, словно разъяренная кошка, готовая на все, чтобы защитить Андреа.

Здесьнюю машину, о которой говорил Петр Петрович, она сталкивала с такой же бездушной, еще более мощной московской машиной. Нет ничего болезненней и опасней внутриведомственного скандала. Она не могла знать об этом, ею двигал только инстинкт. Каким-то образом она отбросила все то, что удалось внушить ей. Петр Петрович не понимал, что произошло, где, в чем они просчитались. По всем правилам они загоняли ее в загон слаженно, аккуратно, и вдруг, когда дверца должна была захлопнуться, она очутилась на свободе.

— Ничего другого я вам не скажу, и пожалуйста, больше меня не вызывайте, я не приду.

В ней было что-то незнакомое — материал, который Петру Петровичу еще не попадался. Она обрела неожиданную уверенность и просто предупреждала их. Не мудрено, что это возмутило Николая Николаевича. Как это не придет, на то есть законы для советских граждан, силком приведут.

— Между прочим, я не советская гражданка, — сообщила Эн.

— А чья же вы подданная? — осведомился Николай Николаевич как можно язвительней.

— Я не подданная, я американская гражданка.

— Были.

— И остаюсь. Тот, кто родился в Штатах, остается американским гражданином пожизненно. Имейте в виду, — впервые она удостоила Николая Николаевича взглядом, посмотрев на него как на назойливую муху,

— если я обращусь в американское консульство, то это будет из-за вас.

Петр Петрович принужденно засмеялся.

— Господь с вами, Анна Юрьевна, только этого нам не хватало. Американцы вас добром не встретят. Знаете, пролитого не соберешь.

Он провожал ее по лестнице вниз, придерживая под локоть, говоря доверительно:

— Мы, конечно, привыкли, что нас боятся. Это у нас от сталинских времен. Не учили мы, что в вас еще многое осталось от другой вашей жизни. А вот нашего страху у вас не накопилось. Но, как говорят, еще не вечер, слава богу, этим не кончатся наши отношения.

— Ваша ошибка в другом была, — сказала Эн.

— В чем же, Анна Юрьевна?

— Вы не разбираетесь в женщинах.

Она шла не разбирая дороги. Ее колотило. Ей хотелось прислониться, прижаться к стене, озноб бил ее. Увидев прицерковный садик, она зашла, опустилась на скамейку, вцепилась руками в сырые перекладки. Тупо уставилась на старинную ограду. Стволы чугунных пушек, связанных длинными цепями. Она никак не могла успокоиться. Прохожие оглядывались на нее. Тогда она поднялась на паперть, вошла в сумерки собора. Здесь было тихо, безлюдно. Горели тонкие свечи. Мерцали оклады икон. Желтые язычки пламени слабо высвечивали лики незнакомых русских святых. Присесть было негде. Ноги подгибались, она обессиленно опустилась на колени. Холод каменных плит успокаивал. Слезы катились, обжигая глаза, и вдруг хлынули сплошным потоком. Она прижалась лбом к камню, рыдания сотрясали ее, больше она не сдерживала себя. Вместе со слезами уходила боль и то душное, что не давало дышать. Слезы лились и лились, внутри все омывалось, слезы согревали ее, дрожь утихала. Она плакала горько и сладостно.

Большие строгие глаза, вопрошая, смотрели на нее со всех икон. Беззвучно она молилась им всем сразу, умоляя дать силы, ибо силы ее кончились, она не понимала, как она могла выдержать это испытание, потому что на самом деле она боялась их, все время боялась, безумно боялась. Больше всего боялась, что они увидят, почувствуют, как она их боится. Самое страшное было впереди, неизвестно, что они еще придумают, удастся ли ей в следующий раз устоять. Ей не с кем было посоветоваться, некого просить о помощи. Все вокруг оказалось чужое, она была одна среди чужих. “Господи, дай мне силы, — просила она, — не позволь мне пасть, ты мне помог сегодня, помоги еще. Я виновата, но не оставь меня...”

Назавтра она все же позвонила Валере, позвонила из уличного автомата, сказала, что надо встретиться немедленно, лучше всего там, где они встретились в первый раз, только не внутри, а у входа. Он никак не мог взять в толк, где именно, потом догадался: “У Русского музея?” Она

вынуждена была сказать: “Да, у Русского”.

Моросило, дул холодный ветер, они долго ходили по Михайловскому саду.

— И про теплоход им известно? — переспрашивал он. — Какая гадость! Все испорчено. Я придумал одну вещь написать, теперь не смогу. Что за жизнь! Я так и знал. Я тебе говорил, что нельзя с иностранцами связываться.

Он слишком часто повторял это.

— Значит, они следили за мной!

— Наверное, нам не нужно больше видеться.

— Да, конечно, — сразу согласился он.

Потом он сказал:

— Я ведь никогда не спрашивал про твоего мужа. Знать ничего не знаю... Что же они могут мне предъявить?

Потом он сказал:

— Надо было им сообщить, что я не знаю иностранных языков.

Потом стал допытываться, как они относятся к его картинам...

Эн и не предполагала, что прощание получится таким простым и легким. Они походили еще немного под холодной моросью. Он первый сказал:

— Ну ладно, бывай. — И задержал ее руку. — Теперь мне будет плохо — без тебя.

Она смотрела ему вслед, пока его черная высокая фигура не затерялась среди мокрых черных деревьев.

(Окончание следует)